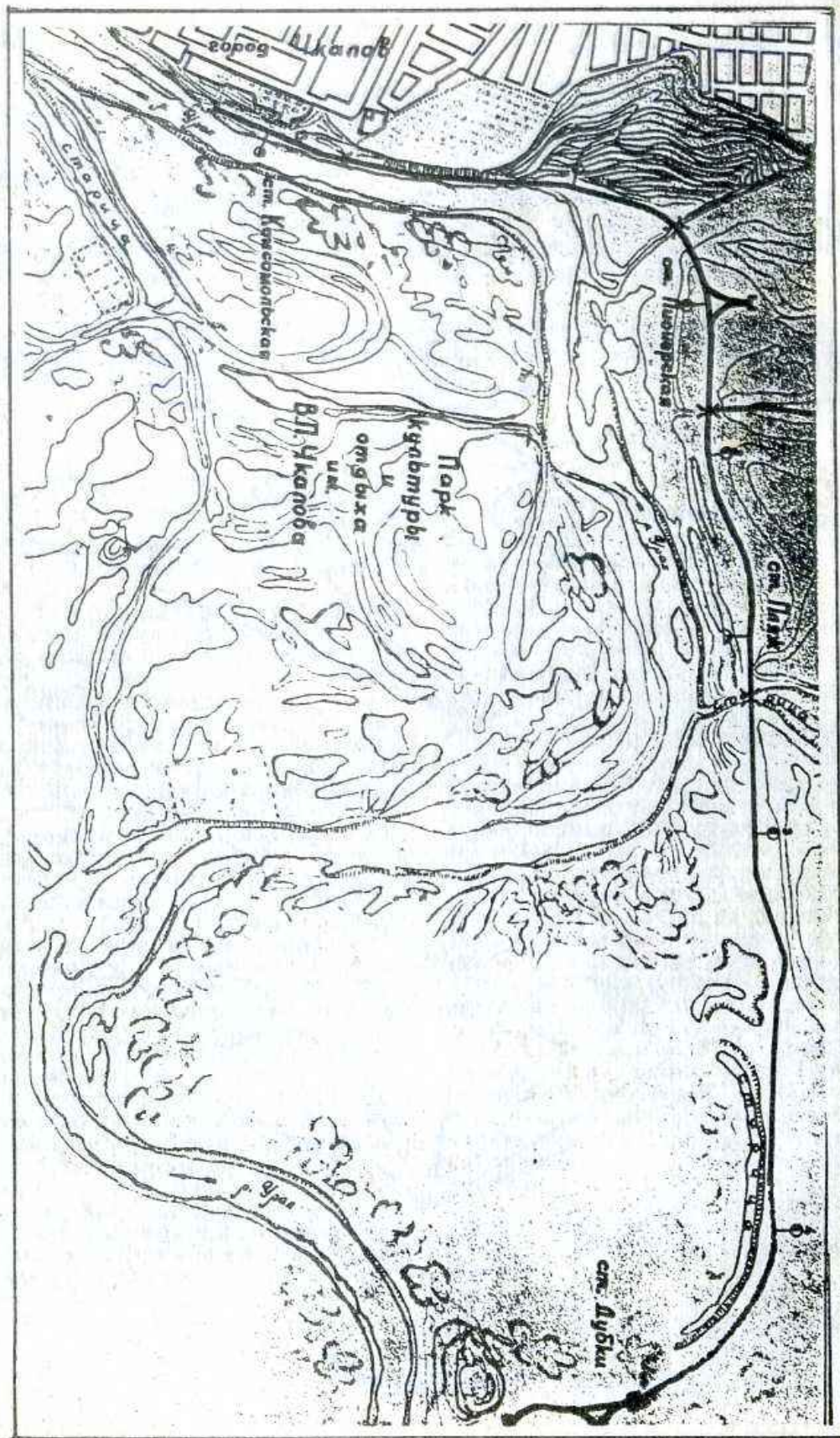


# ГОСТИНЬИЙ ДВОР

5





г. Ягса

с. Кувсунорская

Парк  
Кудамырби  
ул.  
Омгыча

с. Иланская

с. Илан

г. Ягса

с. Агбу

... Результаты эксплуатации Оренбургской железной дороги за отчетный 1886 год представляются в следующем виде:

Валового дохода получено 3 636 985 р. 42 к.  
 Расходов по эксплуатации произведено 2 437 999 р. 28 к.  
 Чистый доход 1 198 986 р. 14 к.

В 1886 году в обе стороны дороги было отправлено 7947 поездов, которыми пройдено 1 693 580 верст.

Доход от движения поездов образовался:  
 а) от поездов большой скорости 504 500 р. 57 к.  
 б) " " малой " 2 859 188 р. 28 к.

Деятельность поездов собственно по продвижению пассажиров, военных чинов и арестантов:

Пассажиров.	Число.	Пассажиро-верст.	Выручено.	Средняя выручка с каждого пассажира.
I класса	1653	253615	7565 р. 47 к.	4 р. 57,40 к.
II класса	12721	1796571	39998 р. 61 к.	3 р. 14,43 к.
III класса	305926	30123321	372924 р. 78 к.	1 р. 21,90 к.
IV класса	17138	2453630	18693 р. 27 к.	1 р. 09,08 к.
военных чинов	34089	10453812	33080 р. 22 к.	0 р. 97,30 к.
арестантов	6200	1445680	4521 р. 84 к.	0 р. 13,03 к.
Всего	377727	46526629	476784 р. 19 к.	1 р. 26,22 к.

Деятельность поездов большой скорости по продвижению багажа, посылок, товаров и штучных предметов:

	Пудов или штук.	Пудо-верст.	Выручено.	Средняя выручка с пуда и штук.
багажа, пудов	52345,75	8091860	16232 р. 56 к.	0 р. 31,01 к.
товаров и посылок, "-"	47605	6338190	10063 р. 17 к.	0 р. 21,14 к.
военского багажа, "-"	342,75	79804	40 р. 28 к.	0 р. 11,11 к.
общественной клади, "-"	2571	457889	84 р. 62 к.	0 р. 03,29 к.
собак, штук	473	228411	383 р. 36 к.	0 р. 81,05 к.
экипажей, "-"	1	3450	13 р. 80 к.	13 р. 80,00 к.
лошадей, "-"	11	89180	267 р. 72 к.	24 р. 33,81 к.
скота, "-"	9	3630	10 р. 02 к.	1 р. 11,33 к.
гробов с покойниками, "-"	6	17760	224 р. 20 к.	37 р. 36,66 к.
рабочих Общества, чел.	1655	989595	396 р. 65 к.	0 р. 23,07 к.
Всего	-	16299769	27716 р. 38 к.	0 р. 24,07 к. (с пуда)

Из "Отчета правления Общества Оренбургской железной дороги за 1886 год".  
 Оренбург, 1887

# ГОСТИНЬИЙ ДВОР

5

Литературно-художественный и общественно-политический альманах

Оренбургское литературное агентство



Оренбургъ.



Издательство  
 ЗОЛОТАЯ АЛЛЕЯ  
 КАЛУГА • 1997

Учредители:

Оренбургская областная писательская организация  
(СП России) и Комитет по культуре и искусству  
Администрации Оренбургской области

Главный редактор — И.А.Бехтерев

Редактор отдела культуры и искусства — Н.В.Смирнова

Редакционная коллегия:

Емелянова Н.А.  
Кожевникова Н.Ю. (Бузулук)  
Корсунов Н.Ф.  
Краснов П.Н.  
Кузнецов В.Н.

Рыков П.Г.  
Саталкин Г.Н.  
Тепляшин А.А. (Новотроицк)  
Флейшер В.Н.  
Хомутов Г.Н.



Обложка художников В.С.Боброва, Д.М.Лемко

Адрес редакции: 460000, Оренбург, ул.Правды, 10.  
Областной дом литераторов им. С.Т.Аксакова  
Телефон: 77-24-35

Технический редактор В.М.Кузнецова  
Компьютерная верстка В.Ф.Стрекалов

Сдано в набор 29.11.96. Подписано в печать 28.08.97.  
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Объем 15 п.л. Тираж 2500 экз. С 23. Заказ 145.

Диагностиквы изготовлены на компьютерах издательства  
"Золотая аллея"

Свидетельство о регистрации №Б-1141 от 19 октября 1994 г.  
в региональной инспекции по защите свободы печати  
и массовой информации, г.Екатеринбург

Издательство "Золотая аллея"  
248601, Калуга, пл.Старый Торг, 4.  
ГУП "Облазнат", 248540, Калуга, пл.Старый Торг, 5

ISBN 5-7111-0236-2 © Альманах "Гостинный Двор", 1997

## Россия и Европа

...Для нас важен теперь тот несомненный факт, что с объединением всех главных европейских народностей и, следовательно, с совершенным почти устранением поводов и соблазнов к нарушению политической системы равновесия падают все прежние препятствия в распространении европейского владычества над прочими частями света.

Действовавшее с самого начала европейской истории, сильное своим религиозным фанатизмом и воинственностью магометанство пало вместе с духом, одушевлявшим последователей этого учения. Громадность, массивность и отдалённость таких политических тел, как Китай и Япония, занимающих Восточную Азию, утратили свое оборонительное значение с применением пароходства к военным целям, ибо теперь стало возможным перевозить на противоположное полушарие массы войск, достаточно сильные для быстрого и энергичного подавления того сопротивления, которое они могли бы оказывать, и даже доставлять эти войска глубоко внутрь страны по рекам. Наконец, самое действительное препятствие к всемирному владычеству Европы — внутренняя борьба европейских государств, за установлением правильных между ними отношений, тоже устраняется почти полным уже достижением устойчивого равновесия. Вся честолюбивая деятельность Европы (а недостатка в ней нет) в большей и большей степени обратится на то, что — не Европа, как бывало всегда во времена перемирий во внутренней её борьбе; Drang nach Osten от слов не замедлит перейти к делу.

К счастью, по мере того как падали только что поименованные старые препятствия к всемирному владычеству Европы, возникли два новые, которые одни только и в состоянии остановить её на этом пути, по-

ложить основание истинному всемирному равновесию. Эти два препятствия: Американские Соединённые Штаты и Россия. Но первые ограничиваются ограждением Нового Света от посягательств Европы и по своему положению они сравнительно мало заинтересованы в том, как будет она распоряжаться со Старым; да по причине этого же положения и не могут, сами по себе, оказывать большого влияния на этом театре действий. Следовательно, вся тяжесть сохранения равновесия сил в Старом Свете лежит на плечах России. Но если Американские Штаты, благодаря своему океанскому положению, совершенно достаточно сильны для успешного выполнения доставшейся на их долю задачи, нельзя того же сказать о России.

При доказанной долговременным опытом непримиримой враждебности Европы к России можно смело ручаться, что, как только она устроит свои последние домашние дела, когда новые элементы политического равновесия её системы успеют отстояться и окрепнуть, первого предлога (как во время Восточной войны) будет достаточно для нападения на Россию...

...Но, возражат нам, всемирное владычество Европы совсем не то, что всемирная монархия — этот страшный враг прогресса; ибо Европа не одно государство, а собрание совершенно независимых государств. Такой взгляд на опасности, которыми угрожает всемирное владычество, был бы крайне близорук. Всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное господство одной системы государств, одного культурного-исторического типа — одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории, в единственно справедливом смысле этого слова; ибо опасность заключается не в политическом господстве одного государства, а в культурном господстве одного культурно-исторического типа, каково бы ни было его внутреннее политическое устройство. Настоящая глубокая опасность заключается именно в осуществлении того порядка вещей, который составляет идеал наших западников: в воцарении не мнимой, а действительной, столь любезной им общечеловеческой цивилизации. Это было бы равнозначительно прекращению самой возможности всякого дальнейшего преуспеяния или прогресса в истории внесением ново-

го мирозозерцания, новых целей, новых стремлений, всегда коренящихся в особом психическом строе выступающих на деятельное поприще новых этнографических элементов.

Чтобы убедиться в этом, стоит только обратиться к сокровищнице исторического опыта. Представим себе, что владычество римлян было бы всемирным не в гиперболическом, а в действительном смысле. За отсутствием внешнего толчка, который ускорил бы разложение громадного римского культурно-исторического типа, пришедшего в гниение вследствие внутренних причин, и развеял бы по всем ветрам поднимавшиеся из него заразные миазмы, — откуда явилось бы обновление? Само христианство не могло влить новой жизни в это испортившееся тело и успело только высказать свою несовместимость с римским порядком вещей. Сам божественный Основатель его не сказал ли, что вино новое не вливается в меха старые, ибо и меха лопнут, и вино прольётся. Не всё ли было равно в этом единственно существенном отношении, составлял бы Рим монархию, республику или даже просто ряд связанных между собою (или даже не связанных) какою-либо определённо политической связью государств? Не одинаковы ли были, в сущности, последствия разложения греческого культурного типа, хотя он и был разбит на многие независимые друг от друга политические единицы: царства Македонское, Сирийское, Египетское, греческие республики и даже республиканские федерации? Не видим ли мы, напротив того, что там, где (как в Китае) не происходило разрушения древних переживших себя культур, обновление не приходило изнутри? В устаревших политических телах, точно так, как и в отдельных людях, с иссякновением родника живых сил остаётся одна лишь форма, за которую они хватаются, как за освященный Ковчег Завета, и в охранении её во что бы ни стало видят своё единственное спасение.

Ни отдельные люди, ни целые народы не могут в старости переродиться и начать жить иным образом, исходить из новых начал, стремиться к другим целям, — что, как мы видели, есть необходимое условие прогресса. Следовательно, для того, чтобы культурородная сила не иссякла в человеческом роде вообще,

необходимо, чтобы носителями её являлись новые деятели, новые племена с иным психическим строем, иными просветительными началами, иным историческим воспитанием; а следовательно, надо место, где могли бы зародиться эти семена нового, — надо, чтобы не было всё подчинено влиянию, а тем менее власти одного культурно-исторического типа. Большой клятвы не могло бы быть наложено на человечество, как осуществление на земле единой общечеловеческой цивилизации. Всемирное владчество должно, следовательно, страшить не столько своими политическими последствиями, сколько культурными. Не в том дело, чтобы не было всемирного государства, республики или монархии, а в том, чтобы не было господства одной цивилизации, одной культуры, ибо это лишило бы человеческий род одного из необходимейших условий успеха и совершенствования — элемента разнообразия....

Н.Я.Данилевский

1868 г.

# ГОСТИНЫЙ ДВОР

5

Проза и поэзия	Стихи по кругу: Н.Архипов, А.Николаенко, Ф.Сукманов	9
	Петр Краснов. Свет ниткуда. Рассказ	12
	Юрий Орбинский. Молгтва. Стихи	87
	Александр Фурсов. Рассказы про Димку и для Димки	90
	Татьяна Морозова. Стихи разных лет	120
	Владимир Напольнов. Стихи	147
Оренбург — Токское	Александр Филатов. Стихи	33
	“Благодатная жажда творенья...” А.Филатов	36
	Александр Вырвич. Между миром и войной. Документальное повествование	44
Время действия	Ольга Мялова. Конец туннеля. Стихи	95
	Наталья Дубинина. Возрождение или пепелище?	100
	Владимир Одноралов. О детской дороге недетская боль	104
	Валерий Кузнецов. Вести душу в храм	110
	Федор Подольских. Погром. Пятилетка первая	112
Личное мнение	Олег Сорокин. Об искажении русской истории	117
Культурный слой	Наталья Свирина. Восхождение	123
	Разия Рафикова. Театр на колесах	130
	Борис Хавторин. На пороге...	137
Каменные летописи	Олег Бальков. Забытый “жанр”	143
Оренбургская диаспора	Евгений Курдаков. Словом горестным не обогрет	149
Народные мемуары	Старое житье-бытье. Из рассказов Наталии Алексеевны Бычковой. Вступительная статья В.Бусовой	156

**В зеркале истории**

**Джордж А. Каррик.** С русскими кочевниками на Лондонской выставке. *Вступительная статья Т.Н. Савиновой и Н.И. Волобуевой* 172  
**Николай Огородников.** Наблюдение за "образом мыслей" и поведением поднадзорных. *Из неопубликованного* 187  
**Фаниль Ишбулатов.** "...и мне жизнь хуже смерти". *К столетию со дня рождения Дя. Морского* 197

**Казачья линия**

**2-й Оренбургский казачий воевода Нагого полк — в документах и фотографиях.** *Публикация В. Семенова* 206  
**Ольга Крюкова.** Донец. *Поэзия в стихах* 219  
**Марина Воробьева.** Казачий парадный мундир: история и проблемы 226  
**Еще раз об Оренбургском институте благородных девиц** 229  
**Семь поколений Саталкиных.** *Г.Н. Саталкин* 233  
**А.И. Макугин.** Степан Фомич Саталкин. 236

**Стихи по кругу**

**Николай Архипов**

Николай Михайлович Архипов родился в 1921 г. Участник Великой Отечественной войны, инвалид.  
Живет в Переволочке.

*Гармонь*

Эх, гармонь, гармонь,  
Перестань, не пой!  
Что болит — не тронь,  
Помолчи со мной.

Помолчи, замри,  
Зря меха не рви,  
Про любовь не ври,  
Нет ее, любви.

Есть похмельюшко  
После одури,  
Да та девушка —  
Алый свет зари!

*Тройка*

Улетела тройка,  
Скрылась в снежном вихре.  
Как мне больно, горько  
В этом трудном мире.

Эх! Шальная тройка  
И меня умчала.  
Жаль, нельзя мне только  
Жизнь начать сначала.

Всё, как в снежной буре,  
У меня смешалось  
Мне клочка лазури  
В небе не осталось...

*А снег метет...*

А снег метет, а снег метет,  
Дороги замстает.  
Меня никто нигде не ждёт,  
Так пусть метель гуляет.

Я у окошка погрешу,  
Мне не впервой такое.  
Я всё чего-то жду, ищу,  
Мне вечно нет покоя.

Быть может, эта кутерьма  
Искрающейся метели  
Даст краткий отдых для ума,  
Со мной печаль разделит...

А снег метет, а снег метет,  
Дороги заметая.  
И что нас завтра в жизни ждёт,  
О том никто не знает.

*Бабье лето*

После хмурых дней  
Столько света!  
На земле моей —  
Бабье лето.

Тихий бабий рай  
С теплым солнушком...  
Не грусти, гуляй,  
Свет-головушка!

Пусть немного дней  
До зимы и вьюг,  
Для души своей  
Погуляй, мой друг!

Послевоенный период существования училища отмечен бурной концертной деятельностью, открытием новых отделений и специальностей, созданием художественных коллективов, яркими победами учащихся на республиканских и зональных конкурсах (в разное время их лауреатами стали О.Лысова, О.Козлова, И.Закопай, Н.Орлова, Е.Токарчук, В.Китов, В.Игнатъев, С.Вооженин, Л.Жигульский, Д.Воропаева, В.Попов, А.Гусарева, О.Попова, Е.Тараник, а среди творческих коллективов — академический хор и оркестр народных инструментов). Этот взлет был бы невозможен без самоотверженного труда таких преподавателей, как Е.Н.Орлова, Н.С.Стальнова, О.К.Милованова, Е.М.Губер, Н.Ф.Маслов, А.В.Кушнер, Е.А.Серовская, В.А.Лебедев, Н.С.Иванов, В.Ф.Харин, Л.А.Восенчер, М.Н.Черепкова, А.Б.Алябьев, превративших училище в главный центр подготовки музыкальных кадров для города и области.

В 1997 г. старейшее на Урале учебное заведение музыки будет отмечать свое семидесятилетие. Сегодня здесь трудятся сто десять преподавателей, из них девять заслуженных (Г.Т.Давыдов, А.П.Закопай, О.Т.Бакеринкова, Г.В.Соколов, Л.Р.Швец, М.П.Остапенко, О.И.Рукавина, Э.И.Чарная, Л.И.Райкова), плодотворно работают два хора (народный и академический) и четыре оркестра (симфонический, духовой, эстрадный и народный), обучаются по восьми специальностям четыреста студентов. А всего за семьдесят лет своего существования училище выпустило около четырех тысяч музыкантов, многие из которых — наша гордость. Это солисты оркестра Большого театра П.Проккопов, Г.Керенцев, композиторы В.Порошкин, А.Нестеров, С.Стрелечный, А.Цибизов, главный дирижер Омского симфонического оркестра Е.Шестаков, профессор Екатеринбургской консерватории Е.Левитан...

В 1927 г. музыкальная школа великим временем была преобразована в техникум, а затем в училище. Ныне мы снова на пороге — на пороге превращения в высшее учебное заведение: институт искусств.

## Олег Балыков

### Забывтый "жанр"



Родился в Саратове в 1930 г. Окончил Саратовскую школу ВВС и Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию, занимался строительством военных объектов различного назначения. После демобилизации живет в Оренбурге, активно участвует в деятельности Русского географического общества, действительным членом которого состоит с 1982 г.

Автор ряда публикаций по истории и краеведению области.

Попробуйте представить Москву, Петербург, любой другой город без единой площади, сплошь состоящими из одних только улиц. Представили? Уверен, что вряд ли. Их, площадей, в одной лишь старой, исторической части Москвы почти сорок. Столько же в Петербурге (тридцать восемь, если быть точным).

Не обделены площадями и наши соседи. В Самаре, например, шестнадцать площадей, в Саратове — тринадцать, в Екатеринбурге и Челябинске — по десять. Сохранены старые, образованы новые. Потому что площадь — это такой планировочный узел, без которого нет структурного каркаса города, и только площадь (да еще, пожалуй, набережные, выходы на открытые речные пространства) позволяет увидеть и оценить интерьер города, составить его образ.

Были площади и в Оренбурге. Были, но практически все исчезли. И даже из памяти ушли. Подтверждением чему — вышедший в прошлом году справочник "Улицы Оренбурга", в котором указаны всего две площади: Привокзальная и Ленина. Название третьей площади можно обнаружить в телефонном справочнике, название

четвертой — в указателе маршрута "семерки": "Вокзал — пл. Мира".

Куда же подевались наши площади? Если исчезновение церквей еще можно как-то объяснить, то как быть с пропажей площадей? Как бы там ни было, а жить в городе без церквей и площадей стало для оренбуржцев привычным и едва ли не само собой разумеющимся. Подчас и такое услышишь: "Да зачем нам они, эти площади!"

Да, площади в Оренбурге — "жанр" хорошо и давно забытый. Недопонимание их роли в городе хорошо прослеживается на примере драматического театра им. Горького. Во-первых, будь при театре площадь, само здание только бы выиграло, во-вторых, не замирало бы транспортное движение во время стечения больших масс народа (как в тот день, когда в драмтеатре выступал М.Л.Ростропович). И, что самое интересное, такая площадь когда-то была — на том месте, где сейчас памятник Ленину. Называлась она сначала Плад-Параллельной, затем Александровской, затем Думской.

В статье "Твой облик, город" ("Южный Урал" от 8 декабря 1967 г.) ее автор Ю.Берестов пишет:



“В Орле, Саратове, Уфе, Салавате, во многих других городах страны тоже много строят. Дома такие же, как и у нас. А облик городов другой. Заполняются архитектурные ансамбли, в которых интересно сочетаются административно-хозяйственные, культурно-бытовые сооружения и жилые дома, площади и улицы со скверами посредине, обычные улицы с двухсторонним движением и примыкающие к ним небольшие площади-скверы. Почему этого нет у нас? Но ведь многие районы мы застраиваем заново! Главная причина, думается, в инертности архитектурной мысли, в слабости архитектурного контроля у оренбургских градостроителей. Ведь при тех же затратах эти же дома можно расположить так, что они создадут запоминающиеся ансамбли”.

Продолзем в глубь истории Оренбурга. На территории крепости были площади: Пляц-Парадная (о ней мы уже говорили), Главная рыночная площадь (квартал напротив Главпотптама, примыкающий к Гостиному двору), Артиллерийская (у бывших Орских ворот — для торговли сеном и пр.). Три площади в крепости, которая сама занимала чуть более ста гектаров. Когда после 1862 г. убрали окружающие крепость земляные валы, то между местами, которые, по военным соображениям, строились в отдалении от крепости, и самой бывшей крепостью открылось вдруг ничем не занятое пространство шириной до 350 метров (т.е. территория, вдвое больше той, что занимала крепость). Однако, как писал в 1924 г. оренбургский архитектор-художник И.В. Рангин, городское самоуправление (дума и управа) не было готово к рациональному использованию этого пространства, лишь со временем отдельные отрезки между застроенными — одни лучше, другие хуже — частями этого “колыба” получили названия площадей, переходивших одна в

другую: Набережная площадь (ныне пересечение улиц Чичерина, Максима Горького), Девская (Красного казака, затем Пионерская), Чернореченская (ныне на ее месте сад им. М.И. Фрунзе), Хлебная (Хлебно-Соляная, затем Динамо), Соляная, Ардатовская (Елькинская), Сакмарская (Мясницкая, Соборная, Красная, Чкалова, Ленина), Конно-Сенная (Центральный рынок и примыкающие к нему незастроенные пространства), Войковская или Форштадтская (Красная, затем Студенческая), Георгиевская (Пугачевская), площадь Безназвания, (между зданием, где недавно располагалось летное училище, и корпусами ракетно-зенитного училища), Марсово поле (на берегу Урала), — всего двенадцать площадей. Каждая из них имела свою историю, связанную то ли с торговлей, то ли со стоявшей на ней церковью, то ли с военными или казачьими мероприятиями, но ни одна, кроме Сакмарской (ныне Ленина) не развилась в площадь-ансамбль, не стала связующим звеном между предметами и историческим ядром города (в архитектурном плане). Не образовалось и городское бульварного кольца (по типу московского), хотя для этого имелись все предпосылки.

По мере дальнейшей застройки города возникали и другие площади, как правило, по улицам, лучами веера расходящимися от центра Оренбурга. Луч вокзального направления: Кадетская площадь, Караван-Сарайская, Госпитальная, Коммунаров, Привокзальная. Луч в сторону горы Маяк: Сырейная площадь. Лучи в направлении Новостройки: Марининская (Торговая; застроена заводом “Радиатор”), Николаевская (Октябрьской революции), Мечетская площадь (пространство вокруг мечети на утлу нынешних улиц Рыбаковской и Терешковой). Луч восточного направления: Парковая (район магазина “Гильдия” на улице Чкалова)

Таким образом, до революции Оренбург располагал двадцатью четырьмя площадями, из которых сохранилось лишь две.

В советское время Оренбург “обогатился” тремя площадями: 1 Мая, Колхозной и Мира. От площади 1 Мая осталось одно название, т.к. ее территория застроена. А вот у Колхозной (между универсамом “Восход” и Театром музыкальной комедии) — наоборот: территория сохранилась, а название утрачено. Площадь Мира пока существует, хотя название ее явно опередило события.

По моему мнению, главной причиной отсутствия площадей в Оренбурге (как и многого другого) является бедность города, отсутствие надежного и естественного источника финансирования (вспомним, например, что сбор средств по подписке на строительство кафедрального собора длился двадцать лет: с 1873 г. по 1893 г.). Величайший “окном в Азию”, город наш по-прежнему — самое настоящее захолустье. В чем, конечно, есть вина и отцов города, и архитекторов, и самих жителей, их низкого культурного уровня. Не заметном также и стремлении согласовать, примирить, скоординировать усилия всех заинтересованных сторон в попытке облагородить облик города. Например, в Екатеринбурге в одноэтажном белокаменном здании на территории Исторического сквера расположена постоянно действующая выставка института “Екатеринбурггражданпроект” по застройке города, куда может прийти любой, ознакомиться с планами, высказать свое мнение. У нас все планы — под семью замками. В столице Болгарии София еще в начале 80-х гг. был организован “клуб друзей софийской архитектуры”, который поначалу был встречен в шпакли архитекторами: как, мол, ничего не смыслящие в градостроительстве и эстетике люди будут обсуждать их проекты?! Но прошло вре-

мя, и сами архитекторы несут на показ жителям свои разработки. Нечто подобное случилось однажды и у нас в Оренбурге. Вспомним, как остро проходило обсуждение жителями проекта реконструкции площади Ленина в 1987 г. В результате фонтан в скверике перед Домом Советом удалось «стоять». А если бы так всегда?

Впрочем, о площади Ленина следует говорить особо, ибо она — главная площадь города. Хотя и условно, ибо других площадей — не главных — у нас, как бы возникли, практически нет. И тут возникает еще один аспект, связанный с местоположением того, что считается “главным” (в данном случае, главной площадью). Дело в том, что есть города (Москва, Екатеринбург, Челябинск, Тамбов), в которых исторический центр во все времена совпадал с географическим, и где, в силу этого, главная площадь — всегда главная, т.е. центральная. Но есть и другие (Уфа, Самара, Коломна, Брянск), где географический центр значительно сместился в сторону от исторического. Мы — именно в этой последней группе. Однако если в той же Уфе или Самаре главные площади увязываются с новым (в сущности, географическим) центром, как бы подтягиваются за ним, то в Оренбурге наоборот — географический центр искусственно подтягивается к историческому, где по традиции размещаются городские и областные административные учреждения, театры и библиотеки, разного рода центры и клубы, основные магазины, Центральный рынок. В этом — корень зла ненормальной работы коммунального транспорта, его постоянной нехватки и растущих нагрузок. Реконструкция общественно-го центра положения не спасет и не исправит, да его развитие в лучшую сторону просто-напросто уже невозможно (это показало обсуждение в 1987 г. нового проекта площади Ленина), будет только хуже.

Мне рассказывали, что автор памятника В.И.Ленину петербургский скульптор В.Б.Пинчук, узнав о возведении на площади "чужеродного" ей здания в 16 этажей, покаялся, что больше никогда не приедет в наш город. Можно по-разному относиться и к Ленину и к его памятнику, но скульптор был, вероятно, первым, кто, как профессионал, понял, что отныне с архитектурной точки зрения главная площадь потеряла свою ценность. Но ломать больше ничего не следует, наломано уже достаточно, нужно создавать новое. Пусть в будущем, при перенесении общественного центра по новому адресу, площадь Ленина займет место Исторической площади Оренбурга, мы же в генеральном плане развития города должны предусмотреть и зарезервировать территории для создания площадей-ансамблей с установкой на них достойных нашей истории памятников, чем пока областной центр крайне беден. Вспоминается, как незадолго до своей кончины известный ученый А.С.Хоментовский, тогдашний председатель Оренбургского отдела Географического общества, задумал выбрать место для памятника Емельяну Пугачеву и закрепить его в своем завещании. Ездил он на Маяк, в другие части города, пока не остановился на месте стыка бывшей Георгиев-

ской площади и Форштатской (концы улицы Челюскинцев, где "оставлялись" автобусы), на откосе с открывающимся пространством в сторону реки Урал. Около двух часов длилась у него беседа по этому поводу с главным архитектором города, завешание направлено в архитектурно-планировочное управление и в архив области (ученый мечтал увидеть нечто подобное по величественности памятнику Салавату Юлаеву в Уфе) Но завешание не сработало: вместо расчистки пространства под будущую площадь-ансамбль с памятником на ней мы можем наблюдать здесь, на единственном оставшемся свободном месте высокого берега Урала, его интенсивную стройку котловани и гаражами.

Вся беда в том, что генеральный план города не имеет под собой географической опоры даже в виде "зеленой книги Оренбурга". Тут полезно было бы изучить опыт Воронежа, где географы под руководством доктора географических наук Ф.Н.Милькова, нашего земляка, полтора десятилетия назад произвели капитальное географическое обоснование генерального плана этого древнего русского города. Наши географы также в состоянии сделать подобное обоснование, если, конечно, нынешние отцы города заинтересованы в результатах их труда.



## Владимир Напольнов

### Стихи

Родился в 1968 г. в г.Кувандыке Оренбургской области. Окончил Оренбургский железнодорожный техникум и Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта, служил в армии.

В настоящее время живет в Оренбурге, работает в газете "Вечерний Оренбург".

Член областного литературного объединения им. В. И. Дала, лауреат областных премий им. С. Т. Аксакова и "Оренбург".

В одно мгновение выгнувшись дугою,  
Как будто перебрасывая мост  
Из полупуария одного — в другое...  
Знамение — горит кометы хвост!

И горько мне дышать прохладой лета,  
Во мгле тонуть, дыханьем руки греть,  
Следить за догорающей кометой  
И не иметь возможности гореть.

\*\*\*  
Снова это лунное затмение,  
Эта ночь, необъяснимый страх,  
Тот же лес и то же песнопение,  
Может, даже тех же самых птиц.

Да, я помню этот воздух жгучий,  
Я дышал им; этот неба скат  
Видел, — даже, знаешь, те же тучи  
Все плывут туда же, на закат.

Был и дождь в саду — такой же  
точно,  
Вот сейчас обрушится — и в пляс  
По траве, по клумбам, по цветочным;  
И продлится также — ровно час.

Ночь. Луна. И туч застывших  
льдинами...  
Но проходят годы — все больней  
Видеть эти лунные картины,  
Ощупать однообразие дней.

\*\*\*

Зардел восток, разбрасывая искры,  
Вот-вот зажгёт окраину села...  
Округа спит, но первый, пробный  
выстрел

Ахация уже произвела.

Вот-вот кузнечик брызнет стрекотнёю  
Из томного, полного куста,  
Вот-вот мальчишки шумной беготнёю  
Ворвутся в эти тихие места.

Ещё чуть-чуть — и оживёт округа,  
Пастуший окрик грянет, как набат...  
Земля вздохнёт и запарит под плугом,  
Как много-много тысяч лет назад.

И от всего, что связано с Россией,  
От каждого крестьянского двора,  
Мне чудится, сквозит такая сила,  
Что нет и слова даже для пера!

Природа просыпается — пора...  
Вот-вот, и вдруг — проснётся вся  
Россия!

### Комета

Ночная мгла. Прохладой дышит лето  
Лишь блестя звезды отбрасывает свет.  
И вот во тьме летящая комета  
Вдруг вспыхнула, растягивая след.

## Старое житье-бытьё

Из рассказов  
Наталии Алексеевны Бычковой\*

Среди множества больших и малых утрат, понесенных в последнее столетие нашей культурой, было и почти полное исчезновение классического типа говорливой российской старушки — той старушки, которая помнила по именам и лицам всех близких и дальних родных, определяла самые замысловатые родственные связи, точно знала, что и как нужно делать в той или иной житейской ситуации, помнила все приметы и способы лечения, умела разрешить любой самый сложный вопрос в тонкой сфере рукоделия или кулинарии, и могла часами, безостановочно, с живостью и красноречием, рассказывать о своем и чужом прошлом, передавая наизусть семейные предания нескольких успешных поколений.

Старушек таких теперь нет. Т. е., может быть, они бы и были, да семьи теперь не те, родственные связи оборваны, традиции ушли, да и некогда нам выслушивать долгие старушечьи повести, и негде, ибо канули в прошлое семейные вечера за столом с зажженной лампой. Теперь семья если и собирается вместе, то у телевизора, а за его голосом ничей другой голос не слышен. Нет слушателей — нет и рассказчица. И сколько утрат на этом пути...

Прежде старушек не только выслушивали, но и записывали иногда их рассказы, и тогда на свет являлись интересные книги, венцом которых стали знаменитые "Рассказы бабушки" Д.Н. Благово, — драгоценный кладез сведений, незаменимый помощник всякого, кто по делу или для собственного удовольствия интересуется людьми и событиями XVIII—XIX веков.

В ряду подобных записей находится и та, которую хотелось бы предложить ныне вниманию читателей. Она сделана со слов Наталии Алексеевны Бычковой, урожд. Румянцевой (1860—1942).

Происходила рассказчица "из простых", по рождению и большей части жизни была москвичкой, из среды мелкого купечества и мещанства, где хорошо помнили еще крепостное право. Образование никакого не имела: мать помогла ей освоить грамоту, а ремеслу обучили в казенной школе кройки и шитья. Читать она очень любила и читала много (и русскую классику, особенно стихи, и журналы, — они с мужем даже выписывали "Ниву"), а писала с трудом: едва умела начарпать поминание в церковь или счет на купленные продукты. В молодости зарабатывала на жизнь шитьем, в двадцать два года вышла замуж за Алексея Филипповича Бычкова, служившего приказчиком на дровяном складе, а позднее подрядчиком и управляющим именьями. Много с мужем ездила по разным городам, много видела, много слышала, все прекрасно помнила и замечательно умела рассказывать.

В ее рассказах нет, конечно, никаких ошеломляющих событий, почти не встречаются и известные имена, но зато в них есть нечто не менее ценное: есть правда прежней, начисто исчезнувшей теперь жизни. Домашний, семейный уклад, представления о мире и о нравственности, верования и суеверия, обычаи и традиции конкретной среды и конкретного времени, — от всего этого так и веет утраченной ныне цельностью, прочностью, постоянством, — хотя, разумеется, идеальным этот

ушедший мир отнюдь не был, и зла в нем творилось ничуть не меньше, чем добра.

И рассказана эта обмеленная старинная жизнь совершенно великопелным языком: простым и в то же время красочным. Он несколько себя не приукрашивает: в нем нет интеллигентской правильности и гладкости, это язык начитанной мещанки, но до чего же он хорош! Точный, гибкий, сохранивший сказовые интонации, и в самых неровностях своих обаятельный. Как не похоже все это на нынешний телеграфный

стиль городской речи с ее "канцеляризмами" и "жаргонизмами".

Своих детей у Наталии Алексеевны Бычковой не было, что служило для нее постоянным источником горести, и в старости она жила в семье своей ближайшей подруги Л.А. Цветковой, дети и внуки которой как бы стали ее собственными детьми и внуками. Она из выпуск. В.В. Савиловской, и сделана в 1930-х гг. запись рассказов Наталии Алексеевны. Велась запись прямо со слов рассказчицы и полностью передается ее стиль и разговорную манеру.

Вера Бокова

Маменька-покойница в Козлове родилась, в Козлове до замужества и прожила.

Дед-то мой из купечества был, обеднел только, совсем разорился. Детей у него шестнадцать человек было: шесть сыновей да десяток девочек. Трех Господь приборал, тринадцать в живых осталось...

К тому времени деду совсем в торговле не повезло, беда да и только. Заневестились дочери, а женихов не находились. Потому для своего звания, для купеческого, капиталов нету, а мужику белоручки не нужны, значит, к черновой работе не приучены. Сами знают, какая работа у мужика. Всякие там рукоделия да что псалтырь заказать сумеет — ни к чему. Маменьку только на двадцать девятым году просватали.

Отец-то мой из крепостных был, вольноотпущенный помещицы Косогорской, в Мпенском уезде поместье было, Орловской губернии. Как заболела барыня, почувала кончину, всем крепостным волю дала. После смерти ее наследники больно ругались: по миру, говорят, нас она пустила.

Барыня-то добрая была, отец рассказывал, а кругом лютые гостида были. Отца моего пенила и уважала, управителем имения сделала. Талантливый был батюшка-покойник, сметливый мужик, хотя и не грамотей. Грамоты ни в зуб не знал, да на что она ему и нужна была, грамота-то. На то конторщика держала.

Счета там какие — все в голове имел.

Маленьким еще мальчонкой папеньку покойного из деревни на барский двор взяли, в казачки. Мать его, — бабушка моя, стало быть, — ревмя-ревела, сына провожая: сладкое ли дело в барских хоромах на побегушках быть, всяк тебе хозяин, и никогда покоя нету...

Ну, значит, просватали маменьку. Жених-то ей в пору в отца годился, вдвоем старше был, да и при том вдовый. Говорили, первую жену в пьяном виде в могилу свел. Пил очень. Сам отец про себя рассказывал, да и люди говорили, — испортили отца, заговорили, травой какой-то опоилю: до тридцати пяти лет вина в рот не брал, а тут запил горькую. Сам-то с того как мучился, а слаб был на вино очень.

С зависти это его люди, больно везло ему во всем.

\* Печатается по тексту: ЦГАЛИ, ф. 1337, оп.3, ед.37.

Маменька плачет-убивается: "Не пойду за него, лучше век девицкой буду". А бабушка-покойница (Царство ей Небесное), сама с маменькой слезы проливает, видно, жалест, да как не жалеть — дочь родная (хоть и десяток у нее дочерей-то), всячески ее упрощивает, уговаривает: "Выходи, говори, за него, за тобой, говорит, еще четверо идут. Ты, старшая, не пойдешь замуж, им в девицках из-за тебя оставаться". А раньше ни-ни младшей сестре наперед старшей к венцу иди. Сестры со слезами умоляют: "Нам из-за тебя пропадать, в девицах век коротать".

А к слову сказать, лицом из них никто не вышел. Ни Физова, ни Фюкстиста, ни Алевтина с Музой, — тетки мои. (По календарю имена давали, в какой день родилась, тем святкам и называли. Мать Лидией звали, имя редкое тогда было и красивое).

Ну, потужила, потужила маменька, да как быть: у отца родного век на шее не просидишь. Пошла к венцу.

Конечно, и обидно было: старый да вдовый, и еще крепостной бывший. А хоть и не из благородных она сама-то, да все как-никак купеческая дочка. Французкомко обучена даже была, а одну сестру ее у учителя танцам учили. Потому — всем всё сразу не к чему. Кого чему.

Рукоделия всяческие женские знали, конечно, по хозяйству тоже, не то что теперь, ничего по дому не умеют.

А тетки мои, все четыре, что матери были моложе, так в девицах и остались, опять-таки купцов не нашлось, а мужику на черную работу изнеженных брать страшно. Рукоделием промышляли, при родителях жили, а кто у замужней сестры.

И дожили все мои тетины до восьмидесяти лет, да и за восемьдесят перевалили, — очень долговечные все в нашей семье. Купцы-то, у коих дети не жили, в честь теток имена новорожденным давать стали...

Маменька любила про родной Козлов вспоминать, как ей в девицестве жилось.

Козлов в ту пору большой город был, хороший. Семь церквей, два монастыря, дома каменные. Училище уездное было, тридцать пять тысяч жителей.

В Козлове в то время девицы все больше рукоделием занимались, — из купечества там небогатого иль из мясан. А уж первой рукодельницей у них Груня слыла, не девка, а ждал была, кружево ли тончайшее сплести, гладь ли, бисером, золотом вышить, — никто по работе с ней спорить не мог, потому, говорят, лучше всех свое дело знала. Как царь-то, Николай Павлович<sup>1</sup>, с царицей в Козлов приезжали, она, Груня, пелену золототканую подносила своей работы. Вот такая рукодельница была.

А, смешно сказать, почти без рук родилась.

Груня-то маменьке-покойнице троюродной сестрой приходилась. В семье девятая по счету была. Мать-то ее с ней долго мучилась, как родила, бабка как взглянет на новорожденную, да как ахнет. А сама потихоньку отцу шепчет: "Неси, говорит, ты ее, батюшка, скорей с глаз долой, пока жена твоя не видала. Девчонку-то, говорит, бес пометил".

Ну, значит, схватил отец дочку да в сенцы. Глядит, а у нее пальцы все перепонкой затянuty, чисто как у гуса. Что делать? Люди небогатые, куда такая нужда. Какая из нее работница выйдет...

Отец долго думать не стал, взял нож кухонный, поточил, да всю ей перепонку промел пальцем и прорезал. Паутинок обложил, тряпками переязал, и какая девка хорошая вышла, первая по рукоделию слыла... Какие там доктора! Один на весь город был, да и то все больше пьяный валялся, когда в картишки у помещиков не играл. Бабки и лечили.

Да тогда и народ меньше болел. Каленый народ был.

Своими все средствами; уж ежели очень плохо станет, за бабкой бегут да за попом.

Травами пользовались, а то больно простыл, ломота (грипп, по-нынешнему, приключится) — пошел в баню, попарился — как рукой сняло. Либо с угляшка спырнут от глазу.

Ладонки разные тоже носили, чтоб не болеть, значит, помогут. А то просто на Бога, что Бог даст: выздоравел — хорошо, а помер — Его святая воля.

Государь-император Николай Павлович с супругой Александрой Федоровной да дочкой Марией Николаевной<sup>2</sup> в Козлов приезжали. Дом им самый лучший отвели, празднество в их честь устроили. Звонили во всех церквях, да город вечером площадками разноцветными украшали.

Маменька в ту пору совсем молоденькая была.

Царь поехал, не знаю, чего там осматривать, а царица с великой княжной, благо погода хорошая стояла, на балкончик вышли. Известно, собрался народ — поглазеть.

Государыня-матушка милостиво со всеми разговоривает, Мария Николаевна (малюточкой еще была) ребятишкам сласти кидает.

Вдруг как ветер подует, — платья-то широкие носили, — юбка-то как у царицы поднялась, а юбок под низом на ней шелковых красных две аль три штучки надеты.

Бабы-то как заахают: "Матушка-царица вся как есть в сафьян обтянута".

Маменька ну и смеялась! Энтакую штуку сказать!

Уж я вам говорила, что Козлов в ту пору неплохой город был. Как же, и помещики свои дома в городе имели. Наезжали по зимам. Балы, вечера давали на Святках и на Масляной. Хорошие дома, богатые.

Князь Голипын под самым Козловым жил. Богач страсть какой. Все о родном городе заболится, церковь подновлял, домов настроил, денег много жертвовал на сирот там да на бедных.

Чтили его очень и побаивались.

На Масляной, бывало, народ веселит: сани в два яруса соорудит велит, сам сядет под низ, на корвах развалится, а на верхушку сельских рыженых из своих крепостных посадит. Так и ездит по всему городу. Песельники пели орут, на разных инструментах играют, понятно, народ за ним валом валит.

Так всю Масляную и катаются.

А у самой базарной плошчады так вродзе бульварчыка што-то было. Ну, вадумал князь этот самый бульварчик приукрасить, статуи голысе панаствав с абых старон.

Оно, конечно, красиво, даже очень, получилось, да вот беда: слуд мужики из деревни на базар — лошадь стой, сам слезает, да ну к статуям кланяться и молиться.

Грех, да и толькo.

И ни один поп князю сказать не рещается, потому князь — сила. Неизвестно, как еще взглянет: мне, дескать, никто не указ. А оставит так тоже нельзя — идолам поклоненье-то.

Уж окольными путями там, не то до губернатора, не то до архиепископа довели. Убрали статуи.

Конечно, помещиков кругов немало было. Были и лютые, людей до смерти заскакали, измывались по-всякому, а другие и ничего — добрые, терпеливые. Толькo добрые-то редко попадались, уж так всегда на свете.

Пол Козловым тут у одних тоже именье было. Не из богатых, а ничего жили. Старик отец, хоть и в очень преклонных годах был, а все ж таки сам хозяйство вел, дочка ему помогала (сам он вдовый был).

Сыновья с ним не жили, не то в Москве, не то в Петербурге, а кто в Тамбове находились по службе.

Дочери разьединой волыная волюшка была дана. И по этой самой волюшке она над крепостными своими что хотела творила. Особенно доставалось горничной ейной, Акульке. Уж так ее унижала Машера (Машерой ее родные звали, Мария по-нашему, по-простому). Наплюет, бывало, грязь всякую разведет, да зовет ту: "На, убери!" Встанет, руки скрестит на груди и смотрит улыбается — чисто ли.

Мало того, простите меня, заставляла с собой в уборную ходить, рук своих барских мариать не хотела. Я, мол, не могу, мне претит, а ты, холопка, на то и создана, чтобы за барами прибираться.

Ну, раз тоже и прорвало холопку — в тряпку булавочку сунула, да булавочкой-то прорвала. Вскрикнула барышня, захохла: "Чтой-то?" — говорит. А Акулька и отвечает: "Не могу, мол, знать, по нечаянности".

"Я тебя, такая-сякая, на конюшне засеку, в дальнюю деревню сошлю". Пострачала, пострачала, да на сей раз жаловаться не пошла: стыдно, верно, стало.

Обыкновенно чуть что — бежит к отцу: так, мол, и так, накажи ее, мерзавку. Барин был не злой человек, да уж говорила я: дочке единой ни в чем отказу не было.

Толькo никому не сказала, что с ней Акулька сотворила.

И с той поры ни-ни, без Акульки обходиться стала. Выучила ее Акулька.

Тут в скором времени Машерин дядя приехал, помещик Баженов, Иван Андреевич. Богатый, именье в три тысячи душ под Тамбовом.

Сидят раз в саду, чай распивают, Акулька тут же за столом прислуживает. Машера ее и так и сяк задеть старается: то, мол, не так, да это нехорошо. Насдине-то в покое оставляла, побавивалась, видно, как

бы опять за булавочку не напорются, а при других, чужие ежили особенно, рада стараться.

Дядя сидел, сидел, да вдруг и говорит: "Продай, говорит, мне, Машера, Акульку, иль обменяй на кого. Тебе, говорит, видно, она не по нутру пришлась".

А Акулька-то Машерина собственная была.

Машера подумала, да согласилась. Рада от Акульки избавиться.

Дядюшка-то и увез с собой свою новую крепостную душу, а в скором времени на свадьбу позвал: женится помещик Баженов на своей холопке, девке Акульке.

Стала она Акулиной Амелияновной, владельницей трех тысяч душ. Машера-то из себя выходила: "Как же так, говорит, ведь я должна се теперь тетенькой звать, ручки у нее целовать, у хамки".

На свадьбу не поехали, ни Мария Антоновна, ни се отец.

А Акулина Амелияновна в почет и уважение вошла. И хоть лицом некрасива была, ну прямо некрасивая, черная такая, да характера доброго, отзывчивого.

Слышала я, многие девки крепостные барынями становились, свою же братию били и притесняли, со света белого сживали. Забывали о своем прежнем положении, лютели с каждым днем на человеческой крови. Про Акулину Амелияновну того сказать нельзя: пальцем никого не тронула, ласкова со всеми, приветлива. Ангел, а не человек была.

Грамоте поемному обучилась, по-французски сказать умела, чтоб перед мужниными гостями в грязь лицом не ударить.

Барыни-то окрестные сначала ох как на Акульку косились, да хлеб-соль, приемы радушные дело сделали, при том же муж сйный, Иван Андреевич, богач во всей округе, да с князьями, графами столичными дружбу водил.

В Тамбов, бывало, Акулина Амелияновна под праздники выезжала. В карете золоченой, лакеи на запятках, сама в шелках-кружевах, да на горничной на приближенной платье шикарное с барского плеча. Купши из лавок выбегут, начнут самой товары казать, всю, бывало, лавку ей в угоду вверх дном перевернут. Материи разной накупит, вот сколько аршин, платков там разных, лент ярких, — все в подарки всем. Страсть добра была дарить.

А у Машеры к тому времени случилось горе: отец помер.

Братья съехались, именье разделили, не то пошло. Братья Марье Антоновне — не отец-баловник. Прощай, воля прежняя!

Не к тому Машера привыкла. Прорвала, было, волю показывать, — видит, дело плохо. Потужила-потужила, и смолкла. Живет, из братних рук глядит.

Тут купец Осетров (богатей, мукой торговал, а маменьке моей дворянским братом приходился) подвернулся, пошла за него Мария Антоновна, захотелось ей снова хозяйкой сделаться. Хоть и купец, да где тут разбираться.

Этак вот несколько годов прошло: пять ли, шесть ли, более ли.

Стали у Машериного мужа дела плохо идти, хуже да хуже. Покупать стал да в картишки поигрывать, ну, и разорился вконец.

Тяжко Марье Антоновне пришлось — муж никудышный, детей куча, просто есть нечего. Сунулась к братьям, а у тех все данным-данным спущено, полушкой помочь не могут. К дяде идти — опять-таки стыд не позволяет: “Как, мол, я, столбовая дворянка, у своей прежней холопки на черный день просить придут?” Так с хлеба на квас живет, перебивается.

Дети тоже подросли, детей учить надобно...

Муж да братья к дяде на поклон посылают: “Ему, дескать, тысячу-другую плевое дело отдать, а тебе спасение”. — “Не могу”, — твердит; а все ж таки пошла. Жалость к детям стыд, должно, переломила.

Входит. Лакей ее в гостиную привел, пошел барыне доложить: “Осетрова-де пожаловала”.

Машере-то каково, что передумала, что перечувствовала, покамест о ней докладывать ходили. Примет ли Акулька-мерзавка? А ну как за дверь покладет? Всяко бывает.

Вышла к ней Акулина Амеляновна, раздетая в белый шелковый пенюар, шелками расшитый (свои мастерицы были). Машера к ручке. Не дала та, отдернула. Да тут главная в намерены суть.

Усадила Марью Антонову Акулина Амеляновна, заплакала Машера слезами горькими, стала о своем о бедственном положении говорить. Акулька-то свою барышню прежнюю утешает: “Всем, говорит, что есть в моих средствах и в силах, вашему семейству помогу. И Ивана Андреевича своего опущу”.

Сдержала слово Акулина Амеляновна: деньгами сколько там тысячу помогла, детей в столицу учиться пристроила, а холстов, холстов да провизии всякой, чего только с собой не надавали, сколько уж там возов.

Попаивались дела с тех пор у Осетровых. Муж Марьи Антоновны пить бросил, опять торговлю завел, прежнего богатства хоть и не было, но с достатком жили, прилично.

А Акулины Амеляновны сын после на всю округу славился. Рассказывали люди, чего-то он вроде монастыря завел. Женат только был, да с женой по-христиански жил, добродетельно.

Добер был, весь в мать.

Уж к тому времени, конечно, крепостного права уж не было, в шестьдесят первом году дали волю ту.

Такие-то дела мне маменька-покойница рассказывала. Любила она старину-матушку вспоминать. И хорошее, и плохое.

Вот, говорят, “детство золотое”, “пора забывенная”. Я вот этого всего понять не могу. Уж мое-то детство таким уж “золотым” было, сколько я горя видала, что и сказать трудно.

Говорила я вам, отец мой старше моей маменьки чуть не на тридцать лет был, вдовый, первую жену пятый раз битьем в гроб вогнал, а тут за мою маменьку принялась. Семьдесят три года я на свете живу и забыть не могу, как он над ней, страдальницей, измывался.

Я первенская была, в шестидесятом году родилась, за год до отмены крепостного права. Осенью маменька меня принесла, в августе месяце, Натальей и назвали<sup>1</sup>. Отпову мать тоже так звали.

После меня еще две сестры были, не жили только, потому от побоев раньше времени родилась.

Батюшка мой делами разными занимался, комиссионер звали, кому именно сосватает, кому дом купит, деньги, кто даст, под проценты отыщет. Так, бывало, с описями разными и расхаживал, с собой носил.

Знакомство обиходное имел с всякого ранга людьми: и с купцом, и с дворянином, а нередко графов и князей выручал.

Только дело это отповское дохода мало приносило, потому сегодня продал там что, комиссию получил — и с деньгами, а то месяца ходит — последние гроши проживает. Пил очень. Мы больше на маменькин заработок жили, шитьевать она там или шить брала, подрабатывала. И родные ее, мои дедушка с бабушкой покойные немало из Козлова ей присылали. Так и кормились мы.

Пять мне лет было, как большая беда случилась. В самого вешнего Николаю, мая десятого, в Козлове случился большой пожар. В шестьдесят пятом году это было.

Ахнут не успели, как город смело, людей поразорило да покалечило. Сгорели многие заживо. Говорят, будто велел один купец банку себе истопить (болел очень), ну, Господь и покарал: в праздник, мол, великий этакий париться задунал.

Вспыхнули от этой банки дома, дом от дома, сарай от сарая. Дальше — больше, разбегался красный пегуч.

Народ — кто еще от бедни не ворочался, а кто уж пришедши чаи распивали; столпотворение поднялось великое. Ветрено к тому еще в тот день было. Где тут тушить, разве этакую бурю утушить, дай Бог себя спасти, да чего там успеешь из имущества. Дедушка с бабушкой, мои дядя, тетки так же бросились именем свое спасать. Перво-наперво образа, потом сундуки, перини...

Они-то так с переполоху не понимали, что делали. С тряпьем старым сундук из пламени вытаскивали, а добро — шубы да платья — в огне гореть оставляли. Помутился разум у человека. А сколько детей да больных погорело — сказать нельзя. Два священника — один балкой рухнувшей в церкви раздавлен был, другой, утварь церковную спасая, весь-весь обгорел, да, обезумев, в пруд бросился.

Дед мой тоже сильные ожоги получил, замертво его из горящего дома сыновья вытащили.

Много, много разорились тогда материна родня.

На краю домик купили у вдовы (уцелел край Козлова чудом), бедный, тесный домишка, какой по сравнению с прежним был. А семейство у деду великое насчитывалось. Два сына женатых, неделиных, с детьми, да четыре девины-дочери. Дед через этот пожар и заболел. Тосковать начал, и ожоги тоже не пустяшное дело, ни волос, ни бороды, ни бровей — все спалено было. Поболел две недели и преставился.

Бабушка, Ольга Андреевна, в муженьке покойном души не чаяла. Захирела, зачала без своего друга верного, да в августе месяце за им пошла. Всю жизнь душа в душу жили, слова бранного друг другу не сказавши. Бабушка-покойница, Ольга Андреевна, малого роста была, худенькая, из себя невзрачная. Думалось, на нее глядя, как это она пестнацать здоровых детей выносила да родила?

Пятнадцать лет замуж вышла. У матери своей, Анны Антоновны, одной только дочкой и выросла, дитем любезным оставалась.

Они тоже не бедны были, только из-за того, чтоб капиталу не плавать (коль в купцы записался, двадцать пять рублей следовало), в мещанском сословии оставался.

А прадед мой, Царство ему Небесное, все одно торговлей занимался. В те времена почти все торговали.

Прабабка моя, деда моего мать, Катерину Ивановну звали, дочку замуж выдавала, да Ольеньку к себе в обшивки и пригласила. Видит — девка-золотые руки, тихая, скромная, ничему не перечит. Больно по душе пришлась Катерине Ивановне моя бабушка. Била себе в голову сына Иванушку (деда моего) на Ольеньке женить. Обласкала, обдарила Ольеньку, а сама к Анне Антоновне с таким разговором: «Отдай, мол, дочь свою за моего сына, потому больно девушка ваша нам приглянулась».

Анна Антоновна: «Ни Боже мой, как я дитя свое балованное, единственное, на шестнадцатом году замуж отдам: слава Богу, не перестарок еще моя Ольенька, успеется еще в бабах пожить, дайте матери, дескать, на нес наглядеться. Да рази мы вам чета? Соседи засмеют, скажут: залетела ворона не в свои хоромы. Где уж нам к вам в родню лезть».

Ну, Катерину Ивановну не переупрямишь, раз что задумала — купит<sup>4</sup>. А тут еще прадед-покойник прабабку давай учить. «Ты чего, Анна Антоновна, говорит, баба-дура, не в свое дело суешься, да нам честь великая с Осетровщиной породниться?».

Высватали Ольеньку.

Анна Антоновна, глаз не осушая, дочку любимую оплакивая, приданое той заготавливала. Сарафанов нашли в позуменгатам, платья в блестках, летники<sup>5</sup> старинные, еще допетровского времени, что самой ей, Анне Антоновне, в приданое давали, Ольеньке отдала. Ну, ясно: перин, подушек, холстины — вороха, полотена различные, дмотканые. Все го как полагалось.

Свадьбу справили чин-чином.

Вот раз-свекровь-то и говорит Ольге Андреевне (ехать куда-то надо было): «Оденься, говорит, Ольенька, в лучшее платье».

Оделась бабушка, вышла к свекрови, та как ахнет: «Да что ты, ахает, матушка-голубушка, этак вырядилась!» А на той дилетка (вроде сарафана), вся позуменгатам расшита.

«Нет, Катерина Ивановна ей молвила, так, милая, не годится, купцы засмеют. Пойди переоденься».

А переодеться-то не во что: все приданое золотом, словно ризы поповские, блестит.

Ой ты батюшки! Осерчала Катерина Ивановна, — не на невестку, правда (та-то не виновата, конечно), а на Анну Антоновну с мужем: зачем срунды девке настрипали. Все велела в узлы связать и назад несть.

И Анна Антоновна на Осетровых ой как обиделась. Сидит на полу, дочерини наряды перебирает и воев-причитает по каждой вещи: «Энто ли плохо, энто ли не красота ли, не роскошь?»

За полнены продали. Нашлись дураки, купили.

А Ольеньке свекровь все новое справила. Любила ее больно свекровь, не обижала, а как первенький, Николушка, родился, прямо души в ей чаить не стала. И с Иваном Николасвичем Ольга Александровна до-христиански, дружно жили.

Ну, значит, я опять о маменьке-покойнице да о детстве своем рассказывать хочу.

Как погорели Осетровы-то, нечем было им помогать маменьке, тут уж нужда совсем к нам переселилась. Шутка ли сказать, маменька обоих родителей в три месяца лишилась, да пить-есть надо, дочку — меня — обути, одеть, накормить. Я, конечно, несмысленный был, не понимаю, да что хорошо, что вкусно, сунут сайку — и рада, чего мне еще надо. А отец, ясное дело, жели и зарабатывал, все пропивал.

Стала маменька чулки брать шивать шелковые для театров и театральные школ. Да пойтемы вы, машин тогда не было, все вручную, сколько глаз по ночам портила.

Отец, бывало, пьяный придет, давай мать учить. Избить всю — это по-прежнему учить называлось. Потому — он муж, ему власть, а по послowie старинной: курица не птица, баба не человек.

Все она-то, моя бедная голубушка, в синяках да в кровоподтеках ходит. Куда жаловаться, кому? Что вы! Разве можно! Стыд и срам сор из избы выносить. Да всюду такое творилось, по всей матушке России мужья жен «обучали». И бедные, и богатые. Потому всяк муж своей жене господин, а на венчаньи Апостол читается: «Жена да боится своего мужа». Он, мол, тебя сапогом в живот, а ты молчи, он, дескать, твой кормилец и повелитель.

Только уж когда батюшка-покойник за меня принимался, тут маменька, словно наседка на коршуну, обезумев, кидалась «Меня, кричит, хоть всю искалечь, а дите тронуть не смей, младенца безгрешного».

В трезвом-то виде отец, особенно коль денжата водились, и побаловать не прочь был. Куклов мне, сластей накупит: «Играй, мол, Наташенька». Все ж таки боялась я его до смерти. Бывало, чуть заслышу: сапожниками гремит, — в угол аль под кровать забьюсь, дрожу вся от страха — вот-вот сейчас побище начнется.

Раз сидим мы, обедаем, вдруг отец-то и говорит: «Глядите, говорят, вот старика Евдокимова в баню повели».

Мы к окну. Видим, ведут двое приказчиков под руки старого, бритого, в черной чуйке одетого да в сапогах мимо наших окон. Слепой он уж восемь лет был, темную воду в глазах имел. Его молодцы<sup>6</sup> раза два в месяц в баню париться водили.

Первый богатей был нашего прихода. Какие иконы да паникадила в церковь Спаса на Песках<sup>7</sup> пожертвовал! Обновил храм на свой счет, деньгами дал несколько тысяч на помин души.

Батюшка мой рассказывал (ему тоже люди говорили): ужины любил Дмитрий Григорьевич Евдокимов задавать. Из серебряных бокалов за его здоровье пили, да затем эти бокалы ногами топтали, чтоб, значит, из них ни за чье здоровье больше не пить.

Про отца Дмитрия Григорьевича сказывали, что лет восемьдесят назад он в Москву в лаптях пришел, да повезло, видно, человеку: какое под старость каретное завезение имел, каким владел капиталом! Опять-таки дома, мебель там всякая, золото-серебро.

А Дмитрию Григорьевичу не повезло в детях. Все кутилы вышли сыновья: отпов карман порастрился изрядно, вино да кутеж, на женщин опять-таки. Им в Москве известность была по этой части.

Один-то сын, может, и помыслившее других вышел, да убогоныкий родился, — с горбом. Михаилом Дмитриевичем звали.

Сам-то к старости совсем ослеп, ну, и пользовались и свой, и чужой, дело понятное. Уж это ископом веку было и будет всегда, ничего тут поделат нельзя. Потому люди.

Другой раз тоже сидим мы, не то обедаем, не то чай пьем. Глядим, по двору женщина какая-то слышно кого-то разыскивает. Маменька приглядываться стала да как вдруг вскрикнет: “Да это, говорит, моя Фиозва”.

Ну, выбежала во двор, расцеловались, в нашу горницу ввела.

Я свою тетеньку сроду не видала, гляжу во все глаза: роста невысокого такая, худощавая, ряба страх и некрасива. Ей уж лет под сорок было, маменьки моей чуть моложе. Девича. Жизнь праведную вела.

Лет с восьми до храма Божьего больно усердно делалась, а мясное да молочное совсем кушать перестала. Диву давались, как ребенок крохотный сам на себя пост наложил и, ни Божь мой, никак кусочка, бывало, окромя постного, в рот не возьмет. А к двенадцати годам вздумала в день пищу принимать, а по средам да по пятницам совсем ни к чему не притрагивалась.

Тут стали с Фиозвой припадки твориться. На землю падала, билась, пена изо рта шла. Сколько ее отчитывали, думали, порченная, ничего не помогало. К доктору водили, тот говорит: от поста такое приключилось. Бабушка, Ольга Андреевна, Фиозвочку так и сяк уговаривать: брось, мол, пост, не монашка ты, чего зря здоровье губишь. Ничего слушать не хотет.

Позвали духовника. Долго он с ней разговаривал: “Богу, говорит, не сродна такая жертва, надо, мол, жить, коль Бог жизнь дал, да дела добрые творить”. Одним словом, приказал ей духовник воздержание от пищи неразумное бросить, а Фиозва-то молвит — и ему, духовнику-то, и матери, бабушке моей: “Да мне вашу еду — мясо там, рыбу да молочное — и видеть-то противно”.

Правда, морить себя голодом перестала, а скоромное так и не ела, исключение делала в светлое Христово Воскресенье: как от обедни разговляться садилась, кусочек пахи с куличем да чуть яичка священного пробовала. И до следующего года. Только болей ее не оставила, так всю жизнь припадочной и была.

А жила она до восьмидесяти одного году. Все они, матерена родня, долго жили.

Дед-то мой, Иван Николаевич, когда скончался, бабка решила Фиозву в монастырь пристроить.

Стали объезжать монастыри.

А той — то там-то нехорошо, то тут-то плохо, все не по ней, так и вернулись в Козлов ни с чем. Только деньги зря проездили.

Характера Фиозва неуживчатого была, собой дурна, припадочная, да еще косноязычная влобавом. Станет, бывало, говорить — ничего понять нельзя, спешит, языком спотыкается, все слога перевирает. Ну, вот, к примеру, сказать бы надо “тебе”, а она “тыде” скажет. Ну, ясное дело, смеялись над ней, дразнили.

Ей только в одиночестве и жить. Да и, к слову сказать, обеднели они после пожара, а без денег в монастыре тоже не сладко. Работой завалит.

Да и куда такая великая постница с монашками уживется? Монашки строгости не любят.

Стала Фиозва в Козлове опять проживать, то у сестры замужней, то у братьев. Там обошлет, там приданное племянницам справит своими руками, золотые руки были. Никогда без дела не сидела. Даже в церковь с работой ходила, стоит себе службу слушает, устами молится, а сама чулок вяжет. Смеялись над ней, ругали спервоначалу, а потом уж привыкли.

Одевалась? Нет, не по-монашески. На голове платок там, косынка обыкновенная, юбку темную носила и блязю, тогда все больше все звания блязю широкие носили с завязками назади. Многие и знатные так одевались.

Пришла к нам, значит, в Москву Фиозва из Козлова. А вот зачем пришла. Куриная слепота у ней сделалась, чуть сумерки — ничего тетенька моя не видит, как есть слепая. Так бы она очень и не скорбела (на все ведь воля Божья), а ей уж это безразлично было, мирское-то, да работать надо, вот беда. Глаза — хлеб.

Пошла она к доктору знаменитому, Войнов тут в Москве по глазам был. Так, мол, и так, не вижу ничего вечером. Посмотрел тот ее и говорит: “У тебя, говорит, матушка моя, оттого все это приключилось, что больно запостилась ты всю жизнь свою”. Все кушать ввела. Да уж, конечно, совсем выздороветь не смогла, хотя лучше стало.

К концу жизни в Братолюбивом обществе в богадельне она жила. Давыдов той богадельней правил, Иван Юльевич. Хорошо там было. Комнату ей дали, по рублю денег каждый месяц. Довольна была. Только уж очень с соседками ругалась. Дразнили ее за ее язык.

Как умерла, сорок дней ей сравнялось, пошла я к Василию Кесарийскому<sup>1</sup> (наш приход тогда был) панихиду по новопостравленной Фиозве служить. А протодьякон-то, Иван Николаевич (тезка моему делу полный), зауярился — и все тут: “Нет, говорит, такого имени Фиозвы, напутали вы, верно”. — “Как, отвечаю, могу я тетки родной имя спугать? Я, говорю, подлинно знаю”.

А он никак — сердится. С правдом был покойник. Красавец, голосина какой. Спился он и не старым еще помер.

Ну, значит, не могу, да и все тут. Я в слезы.

Пошел в алтарь, о том о сем, все книги перерыли, пересмотрели, святцы переискали, нашли такую святую. Отслужили, помянули, как полагаются.

А то такое дело. Чем она-то, покойница, виновата?



Одиннадцатый годок мне пошел. Без дела я, правда, не болталась, маменька-покойница шить, вязать показывала, читать по складам обучила. (Она у меня хорошо грамотная была, а в молодости даже французскому обучилась). Тоже и по хозяйству я что разумела — сварить, приготовить могла.

Подруг у меня не было, Юлия только одна (по соседству жили, а затем и учились вместе). И все больше я дома с маменькой пребывала, рассказы ее о старине слушала.

В церкву, конечно, каждый праздник ходили, а чтоб в гости — редко, скуца маменька на знакомства была, к дружбе относилась строго. “Коль ты всем друг, значит, мне не друг”, — повторять любила. Да и какие у бедных людей друзья-приятели.

Только с одной семьей сошлась моя маменька, де Спилер фамилия была, из дворян, благородные. Бедны только очень были.

Посватался за дочку ихнюю кондитер Иванов, Николай Иванович, богач (зал со столом они под свадьбы да похороны сдавали), и отдали Лизавету Николаевну. Что слез было! Зато, можно сказать, всю семью от голоду спасла.

Николай Иванович жену любил, слов нет, только сильно пил, а в пьяном виде, дело известное, давай свою законную половину тузить. Раз ударил, другой прибил. Лизавета Николаевна-то и говорит: “Я, говорит, над собой издеваться не позволю, потому я благородная, а не кушчина серая. Возьму да уйду”.

Как снова написали он, замкнулся, она в чем была да к Анне Васильевне. Анна-то Васильевне ихняя знакомая была, может, свойственница какая, она же за него ее и высватала.

Ну, протрезвился Николай Иванович, прибежал за женой: “Иди, дескать, на свое место”. — “Нет, отвечает, не пойду, да мало того, к мировому подам”.

А Иванов-кондитер, Царство ему Небесное, покойник, уж труслив был — не приведи Бог. Как услышал: к мировому, — бух жену в ноги: не губи, моя, не срами, пальцем тебя не трону, зарок дам капли вина в рот не брать.

И в самом деле, как обещалась, не только ее не тронул — пить совсем перестал. Как ножом отрезало. Ни-ни с тех пор. Очень счастливо жили. Только одно: Господь детьми не наградил.

Я замуж как выходила, он образом меня благословлял, в посаженых отцах на моей свадьбе был.

Еще мать с одним семейством знакомство водила. Стародумовы, у Горбатого моста<sup>9</sup> проживали, лавку имели свою в Ножевой линии.

Четыре девицы у них были, и все четыре замуж илти никак не хотели. Им о замужестве никто даже и заикнуться не смел. Прямо-таки боялись мужчин и ненавидели: “Как это мы дадим тело свое на поругание, срамоту такую да грех выносить будем?”

Так и жили при родителях.

Старшим лет за сорок было, а младшей, Александре, лет двадцать пять. Хороша собой, очень даже недурненькая, бронеточка была, много нравилась. Ну, а свататься не сватались, знали ихние прищуды.

Вечно дома сидели, редко-редко в праздник большой к ранней обедне сходят. Мать с отцом на крыльце хоть посилят, воздухом подышат, а они так и на крыльцо не показывались, чтобы, значит, их случайно кто не увидал.

По дому всю черновую работу справляли, кухарки не держали (хоть и средства к тому были) — все же чужой человек, начнет слетити разводить. Вообще, ежели к ним кто придет, загруза они все четыре в своей комнате и носа не кажут. Хотя к маменьке, случалось, и выходили.

Со странностями с большими девицы Стародумовы были.

Летом мне весело жилось. Тогда никто ни на какие дачи никогда не выезжал, разве уж знать в свои поместья.

Мы в ту пору в Дровяном переулке жили<sup>10</sup>, у Новинского бульвара... За нашим домом лесной склад начинался. Площадь большая, редко когда, да и то к осени, бревна свозили, гуляй, бегай — раздолье. Бывало, в апреле-мае зеленеет все, трава подымется... Ну, какая тут еще деревня нужна. В прятки играем день-деньской с ребятнишками, друг за дружкой гоняемся...

Говорила уж я вам: одна-разъединая подружка у меня была, Юлия. Мы с этой самой Юлией с измалетства дружку держали, играли сначала вместе, а потом в школе вместе шитью обучались.

Тринадцати лет осиротела Юлия. Отца-то она и не помнит, годов двух, что ли, осталась, как он помер, а мать у ней мастерицей-вышивальщицей была, да чуть поболееши, одну дочку оставила. Правда, тетка еще у Юлии существовала, да бедно жила та тетка, сама шитвой кормилась.

Куда девать девочку? Окромя монастыря некуда.

Нашлись добрые люди, в монастырь пристроили.

Плакали мы с Юлией, расставаясь. Не хотелось ей в монашки идти — по своей охоте тогда мало кто в монастыри шел. Либо сироты, призреть некому, либо убогие какие, коим в миру места нет. А то по родительскому обещанию... Как ослушаешься? Обет. Все равно в миру счастья не будет.

Ну, значит, про Юлию... Не видала я своего подружку, почитай, четыре года. Раз как-то привелось мне в Новодевичьем монастыре у обелни быть. Стала выходить из собора, окликает меня кто-то: “Наташа, ты ли это?” Оглянулась — монахиня молодая. “Ты, говорит, не узнаешь меня?”

Смотрю — Юлия (спервоначалу не признала я). Заплакали мы обе, детство вспоминали, о себе каждая рассказывала. “Как, спрашиваю, тебе-то жилось?” — “Ничего, говорит, живу, мне, говорит, неплохо. Я в хору пою, у меня голос, все хвалят — больно хорош. Приходи, зовет, ко мне в гости”.

Да так, не помню уж почему, не попала к ней я.

С той поры еще десять лет прошло. Я уж замужем была; с мужем в Смоленской губернии проживала, про Юлию мало слышала. Живет себе

в монастыре, и живет. А вспоминала я ее часто. И, по правде сказать, жалела.

Вдруг узнаю: Юлия моя не монашка больше, а замужняя женщина. Как же так, думаю? Приехала я в Москву, узнала, где она живет, да и сходила к ней.

Уж обрадовалась она мне, где усадить, как угостить не знала.

А живет знатно. Свой дом — палаты, мебель золоченая, штофом крытая, картины на стенах, как сейчас помню, из слоновой кости. Сама в бархате, в кольцах. Красавицей стала.

Все мне тут подробно и рассказала.

До двадцати восьми лет в Новодевичьем жила. В хору пела, все ее голосом восхищались. Влюбился в нее теперешний муж, Иван Дмитриевич Мионов, через тетку (тетка-то еще жива была) сговорились, приехала тетка в монастырь — будто племяннику навестить, Юлия пошла будто тетку провожать, села на извозчика — и прощай.

А то так, ни Боже мой, из монастыря разве пустили бы?

Мужа она не любила, конечно, так прямо и говорит: за деньги шла, на богатую жизнь. И монашеское все больно опостыло ей.

Муж Юлии прежде дворецким был, крепостной бывший барыня Перской. Он даже грамотный был, наружность имел представительную и ото всех большим уважением пользовался. Барыня была очень в годах, наследников прямых не имела, а дальних родственников не признавала, да в завещании все богатство своему дворецкому и завещала. Может, он даже какой родней приходился, о том мы не слыхивали, а то, возможно, за преданное служение.

Так и остался Иван Дмитриевич в ее хоромах жить-поживать. Всеми картинами, золотом, серебром владел. По праву, как ему полагается. Когда Юлию в соборе на крылосе<sup>11</sup> услышал и увидел, ему уж за пятьдесят было. Влюбился сразу.

Юлию обожал. Что говорится, каждую пылинку с нее сдувал. Только умер скоро — и пяти лет не прожил.

Дочку оставил маленькую, Варенькой звали.

Тут Юлия моя после мучниной смерти развернулось во всю. День-гой сыплет направо-налево. В консерваторию поступила, петь дальше учиться, а по праздникам в хору церковном, любительском, пела, у Воскресения в Барышах<sup>12</sup>. (Тогда любительские хоры только в моду входили.) Весь хор, бывало, ужинает да обедать к себе звала. Мало ли стоило?

Я к ней ходить все реже и реже стала, не компания она мне.

Так помаленечку, полегонечку все из дома, что подороже и поценней, уносило, да и прислуга крапа.

Какая Юлия Григорьевна хозяйка? У нее веселье да шуры-муры в голове. Да и видать монашку во всем: хозяйству, ценам мимо рук кагитаться давала. Так Персовское богатство все спустила.

Вздумала вдруг дом продавать. Сидит в гостиной (народу у ней в этот день много было) да и говорит: "Продаю, мол, дом".

Один купец и спрашивает: "Сколько, значит, вы просите?" — "Да давайте, отвечает, семьдесят пять тысяч". — "Нате, извольте". Тут же денежки ей выложили.

На другой день с домом покончила.

Только в скором времени узнает моя Юлия: дом-то тот вдвойне пени имеет. Накинулись на купца: "Что во меня, кричит, обманули, дом сто пятьдесят тысяч стоит". — "Вы, он-то ей говорит, просили семьдесят пять. Сколько просили, столько и дал".

Ничего тут не поделалась. А дом-то хорший, на Остоженке, подле церкви Успенья<sup>13</sup>. Покойная барыня Перская, рассказывали, каждый праздник к обедине цугом выезжала. Первая лошадь в церковных воротах, а карета у самого дома. Два шага, да уж так полагалось, зорно считалось этойкой барыне пешком ходить. Только въезала, да уж вылезала.

Недолго те денежки у Юлии держались. В год, а может, и меньше, почти все прокутила, помогли добрые друзья. Хорошо еще, на дочкино, на Варенькино имя до ее совершеннолетия двадцать тысяч положила, а то бы осталась Варенька без приданого.

Юлия сама в Марьину рощу переселилась, знакомых стыдиться стала, белошейную мастерскую открыла там. Только дело не пошло. Опять-таки — какая Юлия хозяйка, что она понимает.

Под конец жизни к Троице<sup>14</sup> жить переехала, домик купила. Уж чем жила, не знаю, неважно жила, а все же прежних привычек не бросила. Кутеж с утра до ночи. И монахи, и семинаристы, и светские.

Мы с мужем к мошам ездили на поклонение, у них останавливались. Не понравилось нам у Юлии Григорьевны: шум, суета. Слово трактур.

Вскорости Юлия умерла, а Варенька замуж вышла за доктора. Хорошо жили, детей у нее много было...

#### Примечания

<sup>1</sup> Николай Павлович (1796—1855), Николай I, император.

<sup>2</sup> Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I; Мария Николаевна (1819—1876), великая княжна.

<sup>3</sup> 25 августа по ст. ст. отмечался день св. мученицы Натальи.

<sup>4</sup> Купут — т.е. капут.

<sup>5</sup> Старая русская одежда с очень широкими сборчатыми рукавами.

<sup>6</sup> В купеческой среде традиционно называли молодцами приказчиков.

<sup>7</sup> Спас на Песках — церковь сохранилась; находится на Арбате в Спасо-Песковском переулке.

<sup>8</sup> Василий Кесарийский — церковь находилась на 1-й Тверской-Ямской ул.

<sup>9</sup> Горбатый мост находился на Пре-

сенских прудах. В настоящее время существует как мемориальный объект, памятник революции 1905 г.

<sup>10</sup> Дровиной переулок находился в соседстве с Горбатым мостом; шел параллельно Москве-реке и Новинскому бульвару (ныне на этом месте Белый дом и площадь Свободной России).

<sup>11</sup> На крылосе — т.е. на клиросе, на краю возвышения перед иконостасом (солеи), предназначенном для певчих.

<sup>12</sup> Церковь Воскресения в Барышах (Барашах) сохранилась, находится на Покровке, в Барашевском переулке.

<sup>13</sup> Церковь Успенья на Остоженке не сохранилась. Стояла почти напротив здания Коммерческого училища (ныне Педагогический университет иностранных языков).

<sup>14</sup> Т.е. в Сергиев Пасад, к Троице-Сергиеву монастырю.

Джордж А. Каррик

**С русскими  
ковчегниками  
на Лондонской  
выставке**

Имя Джорджа А. Каррика, основателя кумысолечебного санатория "Джанетовка", уже знакомо читателям "Гостиницы Двора" — по очерку "Два года Италии — или два месяца кумыса?" Т. Савиновой, героем которого он являлся. Теперь Дж. Каррик выступает как автор, не без юмора повествуя о своем участии в Международной выставке гигиены, проходившей в 1884 г. в Лондоне, куда он, решивший познакомиться английскую публику с кумысом и экзотическим бытом народов азиатской России, снарядил и отправил из Оренбургской губернии целую экспедицию. "Я вполне убедился на Лондонской выставке здоровья, — вспоминает он в книге "О кумысе и его употреблении...", — что кумыс далеко не противный, а скорее приятный напиток, ибо часто следя (в русской избе) за теми, которые в первый раз его пробовали, мне редко приходилось видеть, чтобы кто-либо из десятков любопытных не осушил до дна полного большого стакана..."

Но и сам Дж. Каррик не сразу распознал вкусовые и целебные свойства кумыса. Родился он в 1840 г. в семье шотландского лесоторговца, обосновавшегося в Кронштадте. Учился сначала в Peterschule, в 1857 г. уехал в Шотландию, где продолжил образование на медицинском факультете Эдинбургского университета; практику прошел в больницах Эдинбурга и Лондона. Учёбу оладивший старший брат, Вильям Каррик (1827-1878), которого называют "первым представителем жанровой художественной фотографии в России". В 1864 г. Дж. Каррик вернулся в Петербург, где получил должность врача при посольстве Великобритании. Здесь, в России, он, ещё в университете увлекшийся проблемой борьбы с туберкулёзом, и знакомится с опытом лечения этой болезни кумысом (в самарских и оренбургских степях), сам начинает активно использовать данный метод. Результатом его исследований и наблюдений стали несколько книг по применению кумыса в медицинской практике.

Кстати, в том же третьем выпуске "Гостиницы Двора" был помещён ещё один "английский" материал: воспоминания британского военного атташе в России полковника Ф. А. Уэллсеса "С русскими во время войны и мира". Описывая в них пребывание в Оренбургской губернии, полковник Уэллсес упоминает и своего давнего знакомого князя Михаила Михайловича Долгорукова, в усадьбе которого он некоторое время гостил. Любопытно, что и Дж. Каррик был хорошо знаком с князем Долгоруковым. В уже цитированной выше книге он пи-

шет: "В продолжение девяти годов я проводил летние месяцы в Тургайской области на хуторе князя Михаила Михайловича Долгорукова, конный завод которого состоял из 300 степных кобылиц и 20 чистокровных, привезённых из разных частей света, жеребцов, а именно: арабских, английских, русских рысистых и туркменских..." Два этих английских "оренбуржца" — врач при британском посольстве и военный атташе при том же посольстве в 1871-1878 гг. — возможно также знали друг друга...

Умер Джордж А. Каррик в декабре 1908 г. в Петербурге. Дело в "Джанетовке" принял его племянник Валерий Вильямович Каррик.

*Т. Н. Савинова,  
ведущий библиограф ОНБ им. Н. К. Крупской*

*Н. И. Волобуева,  
зав. сектором редкой книги ОНБ им. Н. К. Крупской*

Десять лет тому назад, в мае месяце, в Лондоне, была устроена международная выставка гигиены, в русском отделе которой я решил показать степных кобылиц, с целью познакомить англичан с приготовлением и качествами настоящего кумыса, столь резко отличающегося от носящей то же название мерзости, состряпанной из коровьего молока. Всё, кроме избы, пришлось перевезти из Азии. Нужно было, кроме того, всё устроить на широкую ногу, дабы не пристыдить русский отдел. Поэтому я выбрал из своего табуна 11 лучших киргизских и башкирских кобылиц с жеребятами, купил у князя Мих. Мих. Долгорукова четырёх на выбор кобылиц (из табуна в 400 голов) с приплодом от чистокровных туркменских производителей; прикинул двух типичных жеребцов, одного мерина, пару борзых собак и двух ослов, последних для одного любознательного приятеля в Англии, желавшего сравнить во время их жизни — нравы, а после смерти — кости азиатских ослов с европейскими.

Но "живность" этим не ограничилась: гробовались и представляли степных народов — кирги-

зы, банширы и татары, по семье которых мне было желательно поехать с собою в Лондон. Что, кажется, могло быть легче и проще, как в стране юрт, кумыса и ковчегников, т.е. в Оренбурге, добыть всё необходимое для моего предприятия? Но не так вышло на деле. Нужно, например, было приобрести три хорошие, новые кибитки (т.е. юрты из конны или твёрдо сбитого войлока), и на это потребовалось не мало хитрости и времени. Готовых или не было, или цены (раз узнали, что на них есть спрос) стали просто недоступными. Мне указали на одного богатого киргиза, у которого была для продажи, долго и тщетно ждавшая покупателя, роскошная кибитка. Я отправился к нему с одним знакомым помещиком. Действительно, скелет юрты был редкой и солидной работы; дерево было полированное и выкрашено густой масляной краской; отдельные части прикреплялись медными винтами; кошмы не было, но материя для внутренней обивки была красива и великолепного качества. Киргиз-старик, сидя по обыкновению на мягкой подушке, лежащей на бархатном ковре, понимал, как это

\* "Исторический вестник". 1896. Октябрь.

обыкновенно с ними бывает, настолько по-русски, насколько находил выгодным; иначе говорилос "бельме", и требовался толмач или переводчик. Начался торг, в котором обидчивым натурам участвовать не следует. Например, если собственник кибитки запросит 500 рублей, а ему предлагают 50 рублей, то обе стороны хотя и напускают вид справедливого негодования, однако настолько понимают друг друга, что, на деле, сбавкой с одной стороны и надбавкой с другой покупка обыкновенно совершается. Юрта, предложенная мне, была без кошмы, которая в простенных юртах составляет наибольшую, а в богатых наименьшую часть её стоимости. После довольно жаркого торга и неоднократного шлёпанья по рукам, киргиз уступил юрту, т.е. деревянный её скелет и красивую обивку, за 300 рублей. За этой суммой мне нужно было съездить в банк, и я занял хозяину, что через час привезу ему деньги. Из банка я заскочил в ресторан позавтракать, а оттуда отправился к моему киргизу. Принял он меня довольно сухо, точно я пришёл получать, а не отдавать деньги, опять сослался на незнание русского языка, и в конце концов объявил через толмача, что он понял, что продал юрту за 350, а не 300 рублей. Я рассердился, обругал его и поспешил к приятелю помещику. "Нужно было дать сейчас же задаток, когда заключили сделку", — утешил он меня и стал уговаривать заплатить 350 рублей, ссылаясь на то, что подобной кибитки, вероятно, нет в целой Тургайской области или Оренбургской губернии, и что мне необходимо повезти в Лондон что-нибудь из рядя вон выходящее, а в таких случаях на самолёбе надо смотреть как на излишний балласт. Я не мог не

согласиться с его доводами, но, желая сохранить хоть частичку "гогора", попросил его съездить за меня к старому мошеннику и взять кибитку. Через полчаса он вернулся совершенно озлобленный; снова было пушено в ход киргизом излюбленное им и столь часто приносившее ему пользу слово "бельме", и через толмача объявлено, что юрта стоит 400 рублей. Видя, что цена товара растёт не по дням, а по часам, пришлось отказаться от покупки.

Но где же достать кибитку, а их требовалось три? Время же отъезда приближалось. Разного рода прасолы, из татар, обещали мне живо добыть хоть десяток кибиток, но в продолжение двух недель не нашли ни одной. Пришлось заказать отдельно деревянные части юрт, купить кошму, нанять киргизок выкroitь и шить её, и через неделю три кибитки были уже готовы. Достать "сабу" или "турсуку" (т.е. большой конусообразный мешок из лошадиной шкуры, прокопчёной и промасленной) оказалось почти невозможным, хотя все киргизы приговаривают кумыс в таких сосудах. Образчики, предложенные мне, оказались столь ветхими, заплатанными и вдобавок зловонными, что появление их на выставке в Лондоне разом отбило бы у англичан желание даже попробовать кумыс, хотя у меня его приговаривали так, как делают это башкиры, — в чистых, высоких кадочках. На мое счастье я вспомнил об одном еврее, занимавшемся извозом, и обратился к нему с просьбою отыскать мне приличную на вид сабу. Через несколько часов он вернулся и доложил о существовании трёх саб и о ценах им. Все были новые, чистые, недорого стоящие, и выбрать подходящую было не трудно. Таким

образом, почти всё необходимое для каравана было приобретено (изба была уже заказана в Петербурге), кроме людей.

Казалось бы, опять чего просить — за богатое (по их понятиям) вознаграждение нанять на пять месяцев трёх кочевников с их жёнами? Разумеется, я не желал взять с собою первых попавшихся уродов, а предпочёл выбрать более смазливых, хотя и типичных, как мужчин, так и женщин. Раз во всякой нации есть два совершенно противоположных с эстетической точки типа, привлекательный и отталкивающий, то было бы нелепо возить за тридевять земель на показ несимпатичные образчики целого народа. Но с красивыми, так же как с обидными, не легко было сговориться. Одна молодая киргизка, например, из тех, которые кроили и шили копму для кибитки, была просто очаровательна: высокий рост, гибкая талия, грациозная походка и красивое, выразительное, с мелкими, благородными чертами лицо. Скулы были не выдающиеся, нос маленький, довольно правильный, чуть-чуть вверх пикантно вздёрнутый; кожа замечательно гладкая, нежная, с лёгким румянцем, но оливокового цвета на щеках, — все качества, не присущие её племени; но зато мягкие, овальные, чёрные глаза, из-под длинных густых чёрных ресниц, как степная ночь, тёмные, матовые волосы и ровные, как перламутр, белые зубы указывали на монгольское её происхождение. Мне очень хотелось заручиться таким типом кочевницы для выставки, чтобы, ради хвастовства, сказать, что такими хорошенькими у нас в Киргизии хоть пруд пруди. Она готова была ехать, ибо семья её очень нуждалась, но с тем, чтобы я взял с собою её отца

и брата. На это я согласился, хотя очень неохотно, так как желал вести с собою лишь по одному образчику каждого пола. Но тягачка и братец заволокли такую сумму за временное своё экспортирование, что наше дело разом расстроилось.

После долгих увещаний и торгов мне удалось, наконец, заручиться киргизом, видным малым, и его супругой довольно приятной наружности, а главное женственной. При них был прекрасный, типичный, смуглый, черноволоосенький ребёнок, девочка трёх лет.

Татар мужчин, как более развитых и бывалых, можно было нанять сколько угодно. Но трудно, почти невозможно было заручиться парюю, т.е. мужем с женою. Татары гораздо фанатичнее, нежели киргизы или даже башкиры, и ни за что не позволяют своим женщинам ходить с открытыми лицами. А раз лицо закрыто, татарку также трудно отличить от англичанки, как красную бороду от некрашенной в тёмную ночь. Пришлось поэтому довольствоваться татаринo solo, почтенным старцем, с длинной белой бородой, напоминавшим статую Моисея Микеланджело.

Должен заметить, что заручиться киргизом и татаринo мне было ещё сравнительно легко, так как я был знаком со многими старчинами изок в Тургайской области и в продолжение четырёх лет имело дело с киргизскими пастухами; татар же, занимавшихся барышничеством и толмачеством на Меновом дворе близ Оренбурга, я знал почти всех. Они могли убедить своих земляков, что я не веду их за граниту для продажи или убоя, как говорила (к счастью, после нашего отъезда) ступая молва.

Дело теперь стало за башкиром; тут у меня никакой протек-

ции не оказалось. Добыл я, наконец, рекомендательное письмо к вдове одного полковника (башкира), жившей в ближайшей от Оренбурга башкирской деревне. По магетанскому обычаю, она сама меня не приняла (я остановился на почтовой станции, которую она содержала), но послала одного из своих служащих, который мне сообщил, что по просьбе барыни сейчас явится сельский учитель, говорящий по-русски, и сделает для меня всё, от него зависящее. Учитель (башкир) оказался весьма развитым господином; он уверял меня, что не будет недостатка в охотниках, готовых принять моё выгодное предложение для поездки в Лондон. Но он, видно, не рассчитывал на непредприимчивый дух своих земляков. Начались поиски; привели одного неказистого башкира, отставного солдата, раненого в последней турецкой войне. Его долго пришлось утешивать; но когда показалось, что красноречие учителя берёт верх, солдат вдруг прослезился и, захлебываясь, сказал, что ему не хочется умереть на чужбине, что он подумает, посоветуется, даст нам ответ на следующую ночь и т. д. Нам он показался шлюговеньким и неприглядным, но учитель заметил: "Подождите; обмойте его, причешите и оденьте хорошенько, и тогда увидите, каким он станет молодцом". В тот же вечер явился другой башкир, тоже отставной солдат, служивший в Крымскую кампанию где-то на побережье Балтийского моря. Как мы его ни убеждали, он всё покачивал головой. Мы пробовали затрагивать его самолёбие, прибегали к разъяснению ему прибыли поездки с финансовой стороны; лицо и глаза его временно разгорались, но скоро опять принимали апатичный

вид, присущий выражению восточного человека. Людей в комнате было порядочно, и когда учитель хотел, наконец, пустить в ход какой-то наубедительнейший аргумент, наш воин скрылся в толпе и исчез. Оба башкира были холостыми, и это мне не нравилось, так как пришлось бы терять ещё время на поиски башкирки.

Пришлось начать новые поиски. Нашёлся башкир с женой, согласный временно расстаться с родиной, но запросивший за такое самоотвержение столь крупную сумму, что сойтись с ним было невозможно. Кончилось, однако, тем, что в тот же день мне удалось нанять одного охотника, весьма симпатичного башкира, с миловидной женой. Таким образом составился наконец мой караван.

Три дня ещё потребовались для обмундирования кочевников, из которых каждому полагалось три полных национальных костюма, с двумя парами ичагов (т. е. сапогов из тонкой кожи с кашолами), бухарское одеяло и сундук. Снабдив их чаем, сахаром, хлебом и маханом (мясом) на дорогу и поручив их кучеру-англичанину, знавшему по-русски, я отправил весь караван в Петербург по железной дороге. Людями, лошадьми, ослими, собаками, юртами, коврами и др. наполнились шесть вагонов. На шестой день караван прибыл в Петербург и вслед затем через Кронштадт отправился морем в Гулл (Hull) в Англию. Я же поехал по железной дороге в Лондон, где на выставке уже стали беспокоиться относительно нас, так как мы отведён был порядочный кусок земли. Для лошадей было отгорожено значительных размеров место и устроены стойла без крыши для пятнадцати кобылиц и мерины. Жеребятки имели достаточ-

но места для игры и разбега. К огороженному месту был один вход, у которого стоял постоянно дежурный полисмен. Вне ограды были помещены два жеребца и красивая, из белой кошмы кибитка, с полом и стенами, устланная бухарскими и туркменскими коврами. Русская изба из матчового леса была поставлена близ дружного конца ограды; её долго пришлось складывать, во-первых, потому что все части были брошены в одну кучу, а, во-вторых, не было лопок и привычных русских плотников. Небольших размеров (9 кв. сажень без сеней), но с изящной резьбой в русском стиле подъезда и балкона, изба очень понравилась англичанам, и многие желали её приобрести после выставки, но пена (в Петербурге с меня взяли за неё 2400 рублей) отталкивала окончательно покупателей. Экспонаты же были крайне благодарны избе, ибо красиво устроенный чердак, устланный коврами, сделался излюбленным местом наших собраний и совещаний. На заголовке протоколов экспонентов печаталось: International Health Exhibition. Russian log Cottage (т. е. Международная выставка здоровья. Русская бревенчатая изба). Юрты скоро были поставлены, и с покрытым кошмою полом, разноцветными подушками, бухарскими одеялами, блестящими жёстью сундуками, имели очень уютный вид. Я привёс с собою из Оренбурга двух борзых собак, которые если не представляли собою ничего строго гигиеничного, то во всяком случае пополнили степную картину.

К несчастью, один мой приятель, уезжая на время из Англии, прислал мне ещё пару волкодавов (вывезенных им из России) на выставку. Всё это было ещё ничего, но через несколько дней вновь

прибывшее семейство обогатило шесть пенками. Почти каждый день, а иногда по несколько раз в день, они сплывались с моими собаками, и их с трудом удавалось разнять. Эти стычки производили некоторый переполох среди публики и повели к разговорам, а затем и к переписке между мною и вице-президентом выставки герцогом Бэкингемом (президентом был принц Уэльский), который, сославшись на то, что в заявлении моём комитету выставки ничего не говорилось о привозе мною собак, настаивал на их удалении. Переписка, сначала очень мягкая, скоро превратилась в острую, причём на колкости герцога я считал обязанностью отвечать тем же, а собак не удалял, пригрозив, что если уберут собак, то с ними двинусь и я (о чём, может быть, герцог не особенно бы горевал) и весь мой караван (чего он вовсе не желал и не мог допустить без большого скандала). Но пока продолжалась пикантная переписка, один из псов укусил какого-то посетителя выставки, англичанина. Я извинился за собаку, но укушенный этим не удовольствовался и стал страшить меня и выставочное начальство судебным процессом; при требовании же вознаграждения за поранение придерживался русской купеческой поговорки "Запрос в карман не лезет". Разумеется, он ничего не мог поделать, ибо по английским законам хозяин ответствен только за ранен проявляющиеся и ему известные пороки его животного, а собака моя до того времени никогда не кусала. Таким образом, всякий пес в Англии пользуется законным правом на "одну травлю" в продолжение своей жизни — привилегия, человеку не разрешённая.

Однако, несмотря на это, я счёл за лучшее удалить моих милых псов с выставки.

С той минуты, когда между герцогом и мною завязалась бумажная война, начались почти непрерывные притеснения, кончившиеся лишь с закрытием выставки.

Когда весь караван был приведён в порядок, — а с постановкой избы мы провозились более трёх недель, — началась обыденная наша жизнь. Внутри загороженного места доили кобылиц в известные часы, пять раз в день, и молоко сбивалось в одной из юрт. В избе продавалось свежее молоко и кумыс. Интересно было наблюдать выражение лиц людей, впервые пивших кумыс; и нужно по справедливости заметить, что огромное большинство, раз решившись на такой подвиг, подносило стакан ко рту без жеманства или гримас и всё до капли выпивало. Это служит довольно наглядным доказательством, что бродячие кобылье молоко — напиток, далеко не отталкивающий.

Относительно прокорма кочевников встретились некоторые затруднения. Они отказывались от мяса животного, зарезанного не по магометанскому обряду, чем исключались баранина и говядина. Можно было добыть лошадиное мясо, отправив одного из номалов на болю, где ему дозволили бы резать животное сообразно требованиям его веры, но лошадиный махан в городскую черту Лондона, вероятно, из опасения удачной конкуренции с бычачим, не выпускается иначе, как в варёном виде. Возиться же с варкою отнюдь бы чересчур много времени у людей мне нужных на выставке, а потому пришлось ограничить их пищу из животного царства курами и рыбой. Кур английских они

ещё признавали, как сродичей степных, но не один раз протесовали против морских рыб, ими до того не виданных, в особенности плоских вроде камбалы или ската — последняя похожа формою (но не вкусом) на шареану слагусе с длинным и тонким как у крысы хвостом. От прекрасных, свежих сельдодок они вначале отвёртывались, возражая мне, что какая это может быть сельдка, раз она не солёная. В особенности недоверчиво потрачивал головой старый татарин, который всё подозревал, что его подводят.

— Ведь в море (о котором у него оставались не вполне приятные воспоминания) даже вода солёная; откуда же рыбе в ней быть пресной? — возражал он мне.

— А ты разве не пробовал рыбу, только что пойманную в море, когда ехали на пароходе?

— Куда тут что-нибудь пробовать, когда всю душу так и вывёртывает, и пропсишь у бога смерти, а не рыбы.

Несмотря на лишние кочевников говядины и баранины, кормились они не худо; белый хлеб, яйца, масло, осяную крупу, рис, чай и сахар получали они сколько желали. Три раза в неделю давали им кур и три раза рыбу. Их стол, таким образом, оказался гораздо питательнее и разнообразнее стола вегетарианцев, моих ближайших соседей на выставке. У последних был свой ресторан, свой журнал, свои пропагандисты, свой врач (правду сказать, довольно бледненький и вылинявший) и раз в месяц *diner monstre*, к которому были допускаемы (за плату, разумеется) и лица, в растительную пищу не верующие. На этих обедах говорилось много речей, направление которых прямо вело вас к заключению, что глотающий ры-

бу, мясо или птицу если ещё не отпетый негодяй, то, во всяком случае, скоро делается таковым.

В день приезда нашего каравана я повёл татарина и двух кочевников с их жёнами в вегетарианский ресторан, так как юрты наши не были ещё поставлены. Против растительной пищи религиозных идей они иметь не могли. Их оригинальные костюмы и тип заинтересовали многих в ресторане, а я не мог не любоваться тем спущоивством и достоинством, присущими восточному человеку, с которыми они сидели за столом и ели среди людей им чуждых и в обстановке, совершенно им незнакомой. Но по мере того, как обед приближался к концу, последовало для меня некоторое разочарование, ибо сытно покушавшие кочевники начали в Лондоне применять вывезенный ими из родных степей магометанский обычай, опешомивший англичан. Обычай этот — отрыжка, и служит у них не только вещественным доказательством того, что желудок прилично начинен, но еще передает хозяину, в виде *Lieder ohne Worte*, благодарность за угощение. Чем громче извержение газов, и чем чаще оно повторяется, тем глубже выражается благодарность гостя хозяину за оказанное ему гостеприимство. Покушав аппетитно по два обеда на брата, — правда, вегетарианских, — и напившись (день был жарким) лимонаду и имбирного пива, мои приятели завели столь частую и громкую отрыжку, что обратили общее внимание публики на наш и без того привлёкший внимание стол. Находя излишним давать не входящее в нашу программу представление, я увёл сытых кочевников из ресторана. Когда мы выходили, ко мне подошел один господин и спросил, кто это

такие и чем будут заниматься на выставке. Услышав, что они будут доить кобылиц и приговаривать кумыс, он громко грубо расхохотался, говоря: "Ха, ха, ха! Каково? Кобылье молоко! А! Кобылье молоко!" Этот тон и смех меня укололи, и я заметил ему в ответ: "Вероятно, вам сродни покажется молоко ослиное". Смех присутствующих привел этого насмешника в бешенство, и он удалился, бормоча, что платят входные деньги не для того, чтобы слышать оскорбления.

Знакомые, приходившие ко мне в гости, всегда просили угостить их чаем по-русски, т. е. с самоваром. К самовару подавались хлеб с маслом и несколько сортов прижогого и варенья, без которых чай не чай в Великобритании. Сидели всегда на полушках в юрте, со скрещёнными под собою ногами. Одной барыне, я помню, захотелось хлеба с маслом, и я попросил стоящую в кибитке бабку приготовить бутерброд. Кусок хлеба она отрезала по всем требованиям современной цивилизации; с маслом же справилась своеобразно. Выгребнув рукою из миски требуемое количество, она начала размазывать его по хлебу правым большим пальцем, который часто подносила ко рту и облизывала, дабы держать его в чистоте и масло к нему не прилипло. Гостья наша, молодая герцогиня стариннейшего рода, была чересчур деликатной аристократкой, чтобы обидеть простую кочевницу; она приняла от неё бутерброд и скушала его. Ей так понравился наш хлеб, что она попросила ещё, но с условием, чтобы масло клялось на него менее патриархальным способом.

Вся лондонская печать лестно отзывалась о моём отделе, и несколько журналов поместили иллю-

пластиции с изображениями кочевников, кибиток, лошадей и т. д. Репортеры и интервьюеры являлись вначале чуть не каждый день. Одна газета советовала тем из своих читателей, которые посетили выставку ранее приезда нашего каравана, побывать ради него ещё раз, а тем, которые не видели выставку, сходить для того, чтобы посмотреть наш отдел.

В загороженное место пускались только люди, представлявшие свою карточку (во время моего отсутствия) кучеру-англичанину или полицейскому. Без этого нельзя было бы двигаться ни жеребят, ни кочевникам, ибо бывали дни, что выставку посетили более 8000 человек.

Многие художники, в особенности же ученицы из Kensington school of Arts, приходили к нам писать и лепить кочевников, лошадей, жеребят, собак и т. д. Рисовать жеребят было нетрудно, так как они сделались совершенно ручными. Две пожилые барышни желали написать красками портреты кочевников в их народных костюмах; но я им заметил, что так как это противно учению Магомета, то едва ли последует согласие. Недовольные художницы возразили, что я могу приказать, и что они им за это заплатят. Я ответил, что если б даже и имел право, то не стал бы советовать людям нарушать их религиозные убеждения, но заметил, что чего нельзя ни приказать, ни купить, того можно иногда добыть путем подарка. И действительно, подаренный каждому из кочевников шелковый платок превратил упрямых фанатиков в послушных натуращиков и натуращиц. В то время, как я, черная историческая факты из собственного воображения, разъяснял кочевникам, что Коран не запрещает воспроизво-

дить на холсте лицо человека, а запрещает увековечение его образа в виде лепки, напоминающей богов идолопоклонников (при этом я указал на барышню, занятую валянием из глины жеребенка), и что поэтому они могут согласиться на предложение барынь, одна из последних спросила меня:

— На каком это языке вы с ними говорите?

— А что?

— Какой мягкий, полный, музыкальный язык!

Узнав, что это русское наречие, она заметила:

— А я всё думала, что в русском языке преобладающие звуки гортанные и чихательные.

Очень занимала публику киргизская малютка, которую все называли русским ребёнком (russian baby). Эта трехлеточка, не стесняясь, ходила среди массы публики и благосклонно принимала приношения в виде гостинцев и игрушек, но запищала свою неприкосновенность с энергией, которой могли бы позавидовать многие взрослые. Если кто-нибудь из чужих, например, осмеливался дотронуться до нее, то она испускала такой пронзительный визг, что дерзновенный отскакивал со страхом.

Вообще кочевники жили мирно между собою, и это тем замечательнее, что среди них находились две женщины. Сооры, а иногда и покрывные столкновения "действием", происходили обыкновенно при дележке "на чаев", которыми публика снабжала их в замечательном количестве. В этих неурядицах "cherchez la femme" ни к чему не привело бы, ибо наши две кочевницы были столь миролюбивые создания, что в продолжение пятимесячного сожителства ухитрились ни разу не поссориться между собою.

Нужно заметить, что никому, кроме кочевников, не разрешалось жить в пределах выставки. Это была большая уступка, ибо английские конюхи, чистившие лошадей, должны были удалиться до закрытия ворот на ночь. Правда, в пределах выставки дозволено было жить китайцам, приехавшим не только для продажи за большую цену в маленьких чашечках неважного чая, но и для ознакомления английской публики с национальной китайской оркестровой музыкой и пением, но их забирали на ночь, в занимаемом ими помещении, и выпускали только утром. Эта мера была применяема в виду того, что выставленные предметы в витринах иногда перекочевывали в поместительные карманы сынов Небесной империи ночью. Я очень гордился тем, что это правило не применялось к моим приятелям кочевникам, и выставочное начальство безусловно верило в их честность.

По воскресеньям (выставка в эти дни закрывалась) английский кучер возил номадов за город, показывал им гонку шлопок на Темзе, ботанический сад, зоологический сад и т. д. Башкир подружились с солдатом конной гвардии, у которого побывал в казарме, где его на славу угощали. Его главным образом поражал не столько рост лошадей, — гигантов в сравнении с выносимыми конями его родных степей, — а рост солдат. "Конь большой, солдат больше большой", — говорил он.

Пришёл он ко мне однажды в избу и сообщает:

— Ступай скорей в кибитка, там пришла русская баба и девка, тебя ждёт.

Кто-то со мной заговорил в это время, и я явился лишь несколько минут спустя в юрту, где

увидел знакомую мне русскую барыню, живущую почти постоянно в Лондоне, с молодой англичанкой, которой она меня представляла. Но, кроме них и киргизки, я никого в юрте не заметил и, обращаясь к башкиру, спросил:

— Где же русская баба и девка, про которых ты мне говорил?

Измученный, по-видимому, моим вопросом и указывая рукой на двух сидящих барынь, он ответил:

— Аль спать стал? Вон тебе баба, а вон и девка.

В праздничные дни на выставке было очень много народа, и тогда наша изгородь была окружена густой толпой. Посетителей всё интересовало — и кибитки, и изба, и кочевники, и дойка, и рзынящиеся жеребята. Многие из посетителей, живя почти безвыездно в Лондоне, первый раз в жизни видели жеребят. Часто они заговаривали с кочевниками и, по-видимому, считали, что, говоря с последними на ломаном английском языке и очень громко, те их наверняка поймут. Одна толстая и добродушная женщина, облокотившись на перила, энергично манила к себе киргиза, который стоял неподвижно и стойчески на нее смотрел. Когда окружающие любопытствовали узнать, почему она подзывает его к себе, ответ был:

— Умею по-ихнему говорить; ведь я была на континенте (т. е. за границей).

Киргиз, наконец, подошёл к перилам и, услышав "Шпркизи з дзти" (что, вероятно, означало Sprechen sie deutsch), выпятил глаза и заметил "бальме". Тогда вопрос был повторён, но гораздо громче. Киргиз махнул рукой и отошёл, пробормотав, что, вероятно, "баба совсем ум кончал". Публика, видя неудачу диалога, рассмеялась, и

кто-то заметил: "Нет, старуха, в этом языке вы что-то не тверды", а сама раздраженная вопросительница крикнула:

— Дурак, даже своё наречие не понимает.

На выставку день шёл за днём, неделя за неделей замечательно быстро. Приближалась осень, а с нею, к счастью только на короткое время, стала изменяться к худшему и погода. Появились дожди, а с дождями я начал беспокоиться за здоровье кобылиц, так как они весь день стояли на привязи под открытым небом.

Я обратился письменно к герцогу, как вице-председателю выставки, прося разрешение воздвигнуть крышу. На это последовал отказ, мотивированный тем, что, так как мой отдел смежен с национальной портретной галереей, то администрация последней не дозволит воздвигнуть навес ввиду опасности от пожара. Ответ меня не удовлетворил, так как крышу я хотел построить из оцинкованного железа, а подпоры крыши, хотя и деревянные, уже существовали, да и изба моя, кроме того, была также близка к вышеупомянутой галерее. Я опять написал герцогу, что не желаю подвергать опасности жизнь своих животных и настаиваю на навесе, но в ответ мне было указано, что если кобылицы могут жить чуть не круглый год на открытом воздухе в степи, то отчего им не вынести сравнительно тёплую лондонскую осень.

После этой корреспонденции я решил, если возможно, насолить его светлости и попросить нескольких приятелей описать в самых ярких красках зверское моё обращение с выставленными мною лошадьми и жеребятами, которых я заставляю стоять на дожде и холоде без крыши, и послать (но не

в один и тот же день) эти заявления председателю общества покровительства животным. Нужно заметить, что если запряжённая и отделимо от других стоящая лошадь имеет печальный вид в дождливую погоду, то табун лошадей с жеребятами представляют вид положительно удручающий. Животные стоят некрасивые, угловатые, печальные, с понуренными головами, точно хороня дорогого товарища. Письма и заявления произвели ожидаемое мною действие. Нагрянула целая комиссия из членов общества покровительства животным, их председатели и двух ветеринарных врачей. Мне только этого и надо было. Председатель, очень милый господин, подошёл ко мне и сказал:

— Извините, доктор, что я вас беспокою, но мы получили ряд заявлений от публики о печальном состоянии ваших лошадей, которых вы держите под открытым небом в такую дождливую и холодную погоду. Не думайте, что я вам делаю какое-нибудь замечание от имени общества; мы видим, в каком отличном теле ваши животные, и какой за ними хороший уход, но не могли ли бы вы устроить им какой-нибудь навес? Может быть, — впрочем, вам это лучше известно, — ваши лошади не боятся непогоды, ибо, говорят, они в степях живут круглый год на открытом воздухе.

Я ответил, что только и добиваюсь разрешения устроить навес, но вице-президент этому противится, и разъяснил, что лошадь в степи не боится холода и дождя потому, что она не на привязи, может бегать и тем согреться, когда почувствует зноб. Кроме того, в ненастную погоду они собираются в кучку и таким образом поддерживают внутреннюю темпера-

туру. В степи их шерсть всегда блестящая, так как они, выляясь по копылу, чистят её, а в Лондоне мне пришлось нанять двух конюхов.

— Тогда мы поговорим серьёзно с герцогом, и, надеюсь, вы получите требуемое вами разрешение.

Действительно, они принудили его светлость дать мне разрешение, но я получил его лишь за три недели до закрытия выставки. Но я не желал расходиться на такое короткое время и оставил табун без навеса.

Посещали нашу выставку и фанатичные протестантские ревнители христианства, которые имели неделикатность раздавать кочевникам библии на киргизском, башкирском и татарском языках. Сыны степей принимали подарок удивлённо, просматривали книги, и, видя, что там трактуется о вере им чуждой, и будучи вполне довольны своей, оставили книги в Англии среди вещей, которые считали обременительным везти с собою в Россию.

Во время выставки киргизка и башкирка научились довольно сносно говорить по-английски, ходили они по магазинам, торговались не хуже, чем на Меновом дворе в Оренбурге, и покупали порядочное количество разной дряни.

До и после выставки я распродал всех кобылиц вместе, разумеется, с их сосунками. Между покупателями была дочь королевы Виктории принцесса Беатриса и сэр Томас Акланд, собственник табуна в двести голов, находившихся в совершенно диком состоянии в имении его на юге Англии.

Когда уводили кобылицу с жеребенком, женщины, их доившие, всегда плакали. Во время пребывания кочевников в Лондоне они получили значительные "на чай", из-

за дележа которых выходили, как я уже говорил, иногда между ними довольно крупные разногласия, причём, обращались ко мне как миротворцу. Это до того наконец надоело, что я купил железную копылку, куда приказал класть все "на чай", обещая им при отъезде равномерный деж. Копылка была поставлена в общую юрту, а ключ сохранился у меня. Когда, в присутствии всех кочевников, я торжественно открыл копылку, то был поражен незначительностью скопившихся там денег.

На мой вопрос, не утаивали ли они "на чай", все в один голос ответили: "Нет". Но перед отъездом, каждый из них в отдельности обратился ко мне и по секрету сообщил, что у него накопились деньги, полученные до того времени, как приказано было класть "на чай" в копылку, и просил меня разменять их на русские рубли. Эти суммы на каждого простирались от 100 до 140 рублей. При разделе копилочных денег татарин требовал не пятую, а третью часть, на том основании, что получал жалованье, равное получаемому другими кочевниками попарно, то есть мужем с женою. Против этого протестовали киргизская и башкирская четы, а к ним присоединился и я, считавший несправедливым, чтобы к удвоенному жалованью присоединились еще двойные "на чай".

Киргиз и башкир просили меня купить им серебряные часы (старый татарин уже успел себе выключить таковые у одного посетителя), но чтобы непременно были лучше. Я достал им через знакомого парю прекрасных, новейшей конструкции, глухих часов по оговоренной цене, то есть за половину того, что стоят в магазине. Кочевникам они обошлись ещё



дешевле, ибо я поднёс мне часы в знак памяти нашего дружного сожительства на выставке.

До закрытия последней я распродал почти всё, как "живность", так и неудовольственные предметы. Осталось распрощаться с номадами и отправить их обратно в "блуждающие степи". Морем они доехали до Гамбурга (Кронштадтский порт уже замерз), а оттуда по железной дороге в Оренбург. До русской границы их проводил английский чучер; с границы я выписал им маршрут с означением остановок, в какие часы, на каких станциях, и цену билетов. Доставка их багажа стоила довольно дорого, так как вещи были уложены в тяжёлых (купленных, впрочем, мною) сундуках.

Прощание наше было трогательно и сердечно, не с пролитыми слезами, но и не с сухими глазами. Они благодарили за оказанные им ласки, сказали, что едут назад богатыми, крепко сжали протянутую им руку, поднесли к губам и поцеловали. Это не рабское приложенье к руке, а выражение, по их понятиям, теплоты чувства к хозяину, с которым они жили в ладах, к которому попривыкли, и с которым настала минута расставания. До Оренбурга они доехали благополучно. Их там встретили земляки кочевники парадно, увезли на тройках, и всю зиму приглашали киргиза из аула в аул, а башкира из деревни в деревню, дабы узнать из достоверных уст, какие существуют далёкие страны, хороший ли в них махан едят, и хороший ли чай и кумыс пьют.

"Болюн хорош народ", — говорил киргиз; "весёлый народ", — с замечательным постоянством, но без всяких объяснений повторял башкир; "степенный народ", — утверждал татарин, человек дипло-

матичный, неувлекающийся, осторожный в своих оценках. Да и, кроме того, пессимистическая и подозрительная душа последнего снабжала его воспоминаниями о выставке не совсем приятными. Я помню, например, как однажды утром, явившись к кочевникам, я застал обеих женщин с опухшими и заплаканными глазами. Пока я старался узнать, что их так огорчило, ко мне подошли решительными шагами киргиз и башкир; первый из них заговорил:

— Барин! Скажи этот старый дурак татарин наша баба не пугает. Он говорит, что на эти три стола, который поднимают, нас хотят весить, а бабы наша гоняют в английский гарем. Бабы наша верит татарин и плачет.

По справкам оказалось, что весь сыр-бор загорелся по следующей причине.

Выставочное начальство спросило меня, не желаю ли я электрического освещения (на их счёт поставленного) моего отдела, так как дни становились всё короче и короче, а выставка не закрывалась до 10-ти часов вечера. Я на это с удовольствием согласился, и в тот же день были воздвигнуты три высокие столба с прикрепленным к каждому сверху горизонтальным бруском, на конце которого впоследствии повесили большой яблочковский фонарь. Столб и брус действительно имели вид виселицы, а пылкому воображению и подозрительному характеру татарина трудно было вывести заключение, что три виселицы предназначались для него лично и для двух его товарищей. Иначе к чему именно в нашем отделе, да ещё к концу сезона, воздвигать столбы с горизонтальными брусками, — подумал он.

Я не на шутку рассердился на старика, позвал его к себе и спро-

сил, кто ему сообщил, что кочевников будут вешать.

— Помилуйте, ведь я же прислушивался, что говорят.

— А ты по-английски понимаешь? Слушай же: если ты хоть словом зайкнешься бабам о виселице или гареме, то я прямо выгоню тебя на улицу, откуда ты падаешь не на виселицу, а в полинейский участок, а там тебя, — раз узнают, что ты распространяешь ложные слухи про выставочное начальство, — в кандалах отправят в Оренбург.

Этой угрозой я навёл на татарина ужасный страх. Впрочем, к вечеру, когда электрические фонари были уже повешены и в полном действии, он совершенно успокоился и понял, что напрасно так боялся за участь своих шейных позвонков.

Весь о его постоянных подозрениях и трусости разошлось по всей выставке и дошла, разумеется, до прислуги ресторанов, среди которых было значительное число мальчишек. Каждый, побывавший в Лондоне, знаком с типом тамошнего шустрого, дерзкого, насмешливого, самонадеянного, власть признающего *gamin* 'а.

Вот они-то и воспользовались доверчивой и трусливой натурой татарина, который раз пришёл ко мне в избу (там еще никого не было), запер дверь, бросился мне в ноги и со слезами молил:

— Бога ради не губите! За что же, за что же всё это? Помилосердитесь!

— Что с тобой опять? — спросил я в изумлении. — Другая виселица, что ли? Ты ведь начинаешь мне сильно надоедать.

— Помилуйте, ваше благородие, за что же мне хотят голову долой? За что именно мне, а не другим? Защитите, сделайте божескую

милость. Ведь у меня дети, внуучата, — о всех нужно позаботиться.

— Да кто же тебе это говорил?

— Как кто? Да все уже знают.

Только что вышел утром в отряд, как один кухонный мальчишка кладет свою шею на перила, размахивается сзади ладонью, ударяет по шее и говорит, показывая пальцем на меня: "чик", то есть значит по-ихнему "секим башка"; а все остальные смеются, и потом его передразнивают. Да ещё, шельмец, потом указывают на киргизина и башкира, опять промелькает "чик", а потом махает головой, что значит их, мол, не тронут.

Я не удержался, чтобы не подшутить над нашедшим татариную, и сказал:

— Да, действительно, высшее начальство желает к концу выставки одну жертву для отсечения головы (народу смотреть соберётся много) и требует именно тебя. Они долго не знали, кого выбрать, но кто-то указал на тебя, говоря: "Да вот отсеките башку этому старику, ему все равно недолго осталось жить, да я думаю, он и сам умереть не прочь".

— Ах, каналья, шайтан эдакий. Уж ежели им жертва необходима, то пусть берут киргиза или башкира; у одного всего один ребёнок, а у другого и совсем-то детей нет. А у меня сколько и детей, и внуучат. Каков шарлатан! "Старик, говорит, может и сам хочет умирать". Нет, брат, ошибаешься, вовсе не желает. Да что же это, ваше благородие, защитите, наконец! — и опять в ноги.

Я обещал, что похлопочу за него и к вечеру дам ответ, который, разумеется, был благоприятный для него; мальчишка же, между тем, видя, как он пугается, всё

\* Самое последнее в Оренбурге ругательное слово.

день продолжали его дразнить. При постоянном страхе за свою жизнь он с видимым нетерпением ожидал дня закрытия выставки.

Если кто из читателей интересуется дальнейшей судьбой кочевников, то могу сообщить ему следующее: башкир служит у меня до сих пор, приготавливая кумыс в кумысолечебном заведении; киргиз кочует в 20-ти верстах от Оренбурга, разбогател, торгует и пасёт огромные стада одного оренбургского купца. Дочь его уже невеста. Мы всегда с ним встречаемся как ста-

рые друзья; он иногда бывает у меня в Оренбурге, но чаще всего мы видимся на Меновом дворе (ярмарка в 4-х верстах от Оренбурга, но в Азии), где он мне всегда торгует лошадей до 30% дешевле, нежели я сам бы заплатил. Он и башкир всегда выражают готовность ехать со мной на выставку куда бы то ни было. Не то что татарин. Я с ним тоже иногда выжусь на том же Меновом дворе. Когда я его спрашиваю, решился ли бы он опять поехать в Англию, он с нескрываемым испугом на лице отвечает: "Ой, ни за что, ни за что!"

## Николай Огородников

### Наблюдение за "образом мыслей" и поведением поднадзорных\*

...Лицам, состоящим под надзором полиции, категорически запрещалось менять или оставлять даже на время назначенные им места проживания. В случае же возникновения такой необходимости вопрос о переводе на жительство решался: в другую губернию — только шефом жандармов, в пределах губернии — военным губернатором (позднее генерал-губернатором). Самовольно переменившие место жительство, как скрывающиеся от полицейского надзора, объявлялись в розыск циркулярными письмами Министерства Внутренних Дел и Третьего отделения.

Но и при дозволенном переводе ссыльного в другую губернию незамедлительно следовала ориентировка, способствующая установлению за ним полицейского надзора на новом месте. Так, в декабре 1883 г. пермский губернатор уведомил губернатора оренбургского, что на жительство в город Челябинск выехал состоящий под гласным надзором полиции Александр Никитин, "проходивший по делу о преступном сообществе "Народной воли", и просил установить за ним надлежащий надзор.

Из материалов дела усматривается, что надзор за Никитиным в Челябинске, а затем на Миасском заводе, куда он позднее переселился, осуществлялся не только полицией, но и жандармским управлением.

Полицейский надзор устанавливался и за лицами, прибывшими в край на время по служебным или иным надобностям. При этом ни сама личность поднадзорного, ни его общественное положение или даже близость ко двору не оказывали влияния на полицию. Весьма характерны в этом отношении материалы дела о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, посетившем Оренбург в сентябре 1833 г.

В ориентировке, высланной нижегородским губернатором Бутурлиным на имя Перовского, последний извещался в том, что "по Высочайше утвержденному положению... был учрежден в столице полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение, состоящее в Нижегородской губернии. Известься, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернии, я долгом считаю о вышеописанном известить ваше превосходительство, покорнейше прося, в случае прибытия его в Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распо-

\* Глава из неопубликованного труда Н.М.Огородникова "Полицейская система и полицейский надзор в Оренбургском крае в XIX веке. По материалам Государственного архива Оренбургской области", автора уже известной оренбуржцам книги "Оренбург пограничный", вышедшей в издательстве "Демур" в 1996 г.

ражение об учреждении за ним, во время пребывания в оной, секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением...”

На этом документе Перовский начертал резолюцию: “Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г-на Пушкина отсюда, а потому, хоть во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он оставался в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий...”

Вот еще один пример, свидетельствующий о подобном.

В 1859 г. в Самару прибыл назначенный от правительства членом губернского комитета по составлению проекта “Положения об улучшении устройства быта помещичьих крестьян”, т.е. проекта будущей крестьянской реформы 1861 г., известный в стране общественный деятель, историк и публицист Юрий Федорович Самарин. По этому поводу московский обер-полицеймейстер извещал оренбургского генерал-губернатора Катенина, что Самарин, находясь в Москве, состоял “по высочайшему повелению” под надзором полиции, следовательно, оный надлежало установить и на время пребывания его в Самаре. Катенин, мотивируя тем, что Самарин, по отзыву самарского губернатора Грота, “во время приездов своих в самарскую губернию постоянно вел себя безукоризненно и не подавал повода к каким-либо предосудительным толкам, а также что он и мне лично известен с отличной стороны”, просил Министра Внутренних Дел исходатайствовать у царя освобож-

дение Самарина из-под надзора полиции. Однако Министр Внутренних Дел Ланской ответил, что “по сношению с Главным начальником III отделения... Коллежский советник Самарин не может быть освобожден от учрежденного за ним по Высочайшему повелению секретного надзора”, но предупредил, чтобы “наблюдение за означенным чиновником” было бы “совершенно негласно и неизвещено самому Самарину”.

Особенно рельефно в системе полицейского надзора проглядывалась функция “наблюдения за образом мыслей и поведения” поднадзорных. О том, насколько глубоко и тщательно велось такое наблюдение, свидетельствует, например, рапорт полицейского начальника о студенте Московского университета уроженце Полтавской губернии Леониде Яценко, высланном “за распространение запрещенных сочинений”: “Занимается чтением разных книг и журналов, в особенности следит за политическими делами... Ведет себя прилично, заметно не расположен к лицам, облеченным властью правительства... способен увлекаться в духе материалистическом”.

В 40–70-х гг. в Оренбурге проживал под надзором полиции сын ахуна Внутренней киргизской орды (так в то время называлась часть казахов, кочевавших на территории между Уралом и Волгой) Абсарат Джабиров, высланный сюда в 1841 г. за поездку в Турцию без соответствующего разрешения русских властей, откуда он вернулся с паспортом турецкого подданного. В одном из отчетов, характеризующих поведение Джабирова, указывается: “живет тихо, скромно, ни в чем не замечен, но человек хитрый и верить в преданность его нельзя”.

Осуществляя последовательный надзор за умами и настроениями всех слесов общества, оренбургское начальство не могло не обращать внимания на находящийся в пределах края курорт “Сергиевские воды” (ныне город Серноводск в Самарской области). В июне 1849 г. военный губернатор края генерал В.А.Обручев доложил Военному Министру графу Чернышеву о том, что в летнее время на этот курорт съезжаются многочисленное общество, в том числе “до 500 воинских чинов”, за которыми необходимо иметь полицейское наблюдение. На этом основании он предлагал, во-первых, заменить полицмейстера, назначив на эту должность более деятельного и расторопного человека, “который бы, наблюдая за всеми приезжающими, имел возможность входить в общество”, во-вторых, признавал необходимым “присутствие на водах губернского жандармского штаб-офицера”, в-третьих, просил своевременно уведомлять о лицах, состоящих под надзором и выезжающих на курорт, “дабы заблаговременно... принять меры предосторожности”, и, наконец, подсказывал путь наиболее оперативного получения информации: “почту из Сергиевска направить вместо Бугуруслана, в уезде которого находятся воды, на Бугульму, через которую проходит экстр-почта, и тогда все сведения получались бы в Оренбурге... через три дня”.

В Петербурге положительно отнеслись к предложению оренбургского военного губернатора, и два месяца спустя управляющий III Отделением (он же начальник штаба корпуса жандармов) Дубельт известил Обручева, что им и Министерством Внутренних Дел отданы соответствующие распоряжения.

Как видно из докладов самарского штаб-офицера корпуса жандармов полковника Андреева, в последующие годы он сам или его помощники в летнее время постоянно находились на “Сергиевских водах”, где организовывали негласный надзор за отдыхающей публикой.

Тщательный полицейский надзор за ссыльными и наблюдения за их “образом мыслей и поведением” приводили к усилению мер наказания в виде направления в Сибирь или перевода в пределах края в места с более неблагоприятными условиями пребывания. В 1866 г. было возбуждено дело “по обвинению в преступных суждениях об особе Государя Императора и будущности России” относительно находившего в Челябинском уезде ссыльного Михаила Янока. После доклада дела царю Янок был направлен отбывать дальнейшее наказание в Тобольскую губернию — в “местность, в которой нет много полей и где неблагоприятный образ мыслей его не мог бы иметь вредного влияния”.

Следует особо остановиться на порядке отбытия и такого наказания, как сдача в военную службу. Лица, подвергнутые подобному наказанию, проходили службу наравне с другими солдатами, проживали в одних с ними казармах, получали одинаковое с ними довольствие и денежное содержание. Надзор за ними организовывало командование, и ответственность за их лояльность и “доблестное поведение” непосредственно несли командиры Отдельного Оренбургского корпуса. Напо ска-

<sup>1</sup> Оренбургский и самарский генерал-губернатор одновременно являлся и командиром Отдельного Оренбургского корпуса.

зять, что именно в этом корпусе отбывали наказание многие участники польского восстания 1830—1831 гг., а позже — русский поэт Алексей Плещеев и украинский поэт Тарас Шевченко.

В 1849 г. в России состоялся второй после декабристов крупный политический процесс по делу кружка Петрашевского. К следствию привлекалось более ста человек, из которых двадцать один были приговорены к расстрелу (как известно, расстрел был заменен каторгой). Одним из обвиняемых по делу петрашевцев был поэт Алексей Николаевич Плещеев, приговоренный к каторжным работам, замененным отдачей в солдаты. Отбывать службу Плещеев был направлен в Оренбург и здесь, по прибытии, зачислен рядовым в четвертый отдельный линейный батальон. В составе этого батальона Плещеев участвовал в походе на Ак-Мечеть (ныне город Кзыл-Орда), ее штурме и взятии. Когда войска Отдельного Оренбургского корпуса двигались к Ак-Мечети, командир батальона подполковник Ионей рапортом от 14 мая 1853 г. доносил генерал губернатору Перовскому: "...политический преступник рядовой командуемого мною батальона Алексей Плещеев в течение минувшего апреля вел себя усердно, в поведении хорошо и образ мыслей хорош".

Уволенный впоследствии из солдатской службы, Плещеев был оставлен на жительство в Оренбурге на положении политического ссыльного. В списке лиц, состоящих под надзором полиции в 1857 г., значится: "Коллежский регистратор Алексей Плещеев, 33 лет, урочен Костромской губернии... по высочайшему пове-

нию... подвергнут секретному надзору с воспрещением въезда в обе столицы... находится на службе в Оренбургской пограничной комиссии, содержание получает по должности — 300 рублей серебром в год..." В деле за 1859 г. отмечается, что "отставной коллежский регистратор Плещеев... с высочайшего разрешения... выбыл на постоянное жительство в Москву".

Десять лет (с 1847 по 1857 гг.) отбывал наказание в Отдельном Оренбургском корпусе Тарас Григорьевич Шевченко. Но этот период его жизни широко и подробно освещен в научно-публицистической литературе<sup>1</sup>, так что останавливаться на нем не имеет смысла. Могу лишь добавить, что в отличие от других категорий ссыльных, отчетность о лицах, отбывающих наказание в солдатах, шла из Оренбурга не в III Отделение, а Военному Министру, и подписывалась не гражданским губернатором, а командиром Отдельного Оренбургского корпуса.

В 1837 г. Николай I издал приказ по армии о том, чтобы офицеры, "прикосновенные к происшествию 14 декабря 1825 года или к какому-либо другому тайному обществу", не назначались бы на адъютантские, казначейские и квартирмейстерские должности и не исползовались бы по хозяйственным надобностям, т.е. чтобы несли службу только в строю.

В дополнении к этому приказу в октябре 1853 г. последовало секретное предписание Военного Министра, который, ссылаясь на "монаршие волеизъявления", уведомил, что "означенное повеление распространяется на всех вообще

политических преступников... а также на военнопленных чинов польской армии..."

Наблюдение за "образом мыслей" и поведением поднадзорных лиц велось не только подчиненным военному губернатору полицейским аппаратом, но и находившимися в крае чиновниками III Отделения, что подтверждается многочисленными архивными документами.

Исполнительным органом был Отдельный корпус жандармов. Главный начальник III Отделения являлся одновременно и шефом корпуса жандармов. Первым на этот пост был назначен (сразу же после его учреждения в 1826 г. А.Х.Бенкендорф; в 1844 г. Бенкендорф сменил А.Ф.Орлов; в 1856—1866 гг. этот пост занимал князь В.А.Долгоруков, затем граф П.А.Шувалов (с 1866 по 1874 г.).

Ближайшим помощником главного начальника был управляющий III Отделением, который одновременно занимал пост начальника штаба Отдельного корпуса жандармов. На местах, в губерниях и областях, находились жандармские штаб-офицеры и их помощники. По документам Оренбургского областного архива, известно, что в Оренбургском крае на этих должностях в разное время состояли полковник Маслов, подполковник Иолшин, Реунов и Краевский.

Влияние III Отделения на деятельность полиции (как на один из органов русской военно-политической машины) было весьма ощутимым. Все установления карательного или превентивного порядка вводились в действие или изменялись только с ведома и разрешения главного начальника III Отделения. Уже в 1827 г., вскоре

после создания корпуса жандармов, его шеф Бенкендорф направил оренбургскому военному губернатору Эссену указание о предоставлении списков лиц, состоящих под надзором полиции, штаб-офицеру этого корпуса подполковнику Маслову "для общего соображения при исполнении возложенных на него обязанностей".

В 1831 г. Оренбургский гражданский губернатор Дебу обратился к военному губернатору Сухтелену с запросом: имеет ли право полковник корпуса жандармов Маслов требовать от него представления списков лиц, под надзором полиции состоящих. Сухтелен ответил: "полковник Маслов по обязанности своей имеет полное право требовать список лицам, находящимся под надзором полиции. А потому такое требование его, как другие подобные должны быть удовлетворены безотлагательно".

Штаб-офицер корпуса жандармов по Самарской губернии полковник Андреев, представляя списки поднадзорных генерал-губернатору, в своих рапортах неизменно указывал, "что такой же список мною представлен по команде", т.е. направлен непосредственно шефу жандармов.

В этом отношении характерно дело отданного в солдаты "за принадлежность к тайному обществу" студента Московского университета Олия Кольерфа. В ноябре 1833 г. Военный Министр Чернышев в письме к Перовскому сообщал о поступивших к царю частным образом сведениях о том, что Кольерф для совместного проживания на квартире взял к себе в компаньоны "какого-то поляка из ссыльных", на основании чего Николай I приказал строго следить за поведением и связями

<sup>1</sup> А.Велицкий. "Шевченко в Оренбургской ссылке". Оренбург, 1966; Н.Правинников. "Писатели-клясыки в Оренбургском крае". Оренбург, 1956.

Кольрейфа. Перовский доложил, что Кольрейф действительно проживает на квартире с Кригштейном, но последний "не из тех поляков, которые по характеру и умственным способностям своим могут быть подозрительны".

В октябре 1834 г. Перовскому снова поступило письмо от Чернышева, где сообщалось, что, по дошедшим до царя опять-таки "частным образом" сведениям, Кольрейфа желает взять воспитателем к своим детям "кто-то из особ военного звания". Перовскому предписывалось представить по этому вопросу объяснение. Перовский в батальоне несет исправно, а в свободное время дает детям уроки музыки, что, по его, Перовского, мнению, позволяет лучше знать "его образ мыслей, разговоры и действия".

Николай I, хотя и благоволил Перовскому как своему наместнику обширнейшего края, был, однако, не удовлетворен этим объяснением, что видно из очередного письма Чернышева: "Его Величество высочайше отозваться соизволил, что снисхождение сие не может быть допущено в отношении к Кольрейфу как осужденному за весьма важное преступление и, сколько известно, не оставляющему доселе питать преступных замыслов, следовательно, дающим повод опасаться вредных с его стороны ученикам своим, под видом уроков, внушений". На основании этого категорического указания Перовский отдал распоряжение начальнику 26 дивизии генерал-лейтенанту Жемчужникову отстранить Кольрейфа от уроков, запретить посещение частных домов и усилить за ним наблюдение, что и было сделано.

Как видим, даже генерал-губернатор, наделенный широчайшими полномочиями, имеющий практически неограниченную власть во вверенном ему крае, не мог самолично принять какого-либо решения относительно того или иного политического сыщика. Изменение положения лица, находящегося под полицейским надзором (ослабление режима, перевод в другую местность, поступление на государственную службу, освобождение из ссылки и т.д.), могло произойти только по "высочайшему", т.е. личному разрешению царя, которое следовало после доклада ему шефа жандармов. Таким образом, генерал-губернатор, желая, например, снять часть сысльного, прежде всего обстоятельного и мотивированного рапорта всеильному шефу жандармов и просил его ходатайствовать перед "Государем Императором" об удовлетворении изложенной просьбы. Но если главный начальник III Отделения находил заступничество генерал-губернатора достаточно обоснованным, то просьба его, как правило, удовлетворялась.

Например, в 1854 г. по доносу дворянской вдовы Поржезинской, проживавшей в Киеве, был установлен надзор за лекарем Финляндского драгунского полка Гуторвичем, который поступил в этот полк якобы для того, чтобы "находясь вблизи границы, найти удобный случай бежать из России". По указанию царя Гуторвич был удален от границы и направлен для прохождения службы в одну из частей Отдельного Оренбургского корпуса. Уволившись со службы по семейным обстоятельствам, он остался проживать в Челябинске. Министр Внутренних

Дел Ланской распорядился учредить за Гуторвичем полицейский надзор.

Генерал-губернатор Перовский, ознакомившись с делом Гуторвичя, нашел причины установления за ним надзора необоснованными, т.к. показания Поржезинской вызывают сомнения в своей достоверности, Гуторвич же по службе характеризуется только положительно, а избранное им место жительства, находящееся далеко от государственной границы, опровергает приписываемое ему намерение. Все это генерал-губернатор изложил в рапорте к Министру Внутренних Дел и просил освободить Гуторвичя от полицейского надзора. В ответе Перовскому граф Ланской уведомил, что шеф жандармов доложил рапорт царю, который "Высочайше повелеть соизволил освободить проживающего в городе Челябинске лекаря Гуторвичя от учрежденного над ним надзора".

В 1864 г. в Бузулуке проживал высланный из Петербурга за распространение "злонамеренной" литературы Эраст Цявловский. Отец высланного обратился к оренбургскому генерал-губернатору Безаку с письмом, где объяснял, что его сын болен чахоткой, и просил освободить его из ссылки. И в данном случае рассмотрение шло заведенным порядком: генерал-губернатор обратился с ходатайством к Министру Внутренних Дел, тот к шефу жандармов, шеф жандармов доложил царю, который и счел возможным удовлетворить просьбу Цявловского.

И еще один пример. В 30—50-х гг. в Оренбургской ссылке находился автор знаменитого "Соловья" композитор А.А. Альбёв, относительно которого в Оренбург-

ском областном архиве сохранились следующие данные... Подполковник гвардии Александр Алябев в 1828 г. по ложному обвинению в убийстве был лишен "всех чинов и дворянского достоинства" и сослан в Сибирь. В 1832 г. по состоянию здоровья (композитор страдал болезнью глаз) ему было разрешено выехать на лечение на Кавказские минеральные воды, откуда он, по велению Николая I, был отправлен для дальнейшей отбывания ссылки в Оренбург. Сюда Алябев прибыл в сентябре 1833 г. в сопровождении казака Хоперского казачьего полка Фисенкова. Проживал в Оренбурге на собственные средства, содержания от казны не получал, ни в какой службе не состоял. В мае 1834 г. по разрешению Перовского Алябев некоторое время гостил в усадьбе Тимашева, а затем выезжал на курорт "Сергиевские воды". В январе 1835 г. Алябев получил разрешение на временное проживание под надзором полиции у родственников, и в марте того же года выехал к ним в село Рязанцы Богородского уезда Московской губернии. Возвратился в Оренбург в феврале следующего года.

В 1836 г. Алябеву было разрешено поступить на службу в качестве чиновника XIV (самого низшего класса), и генерал Перовский устроил его в свою канцелярию. В 1840 г. жена Алябьева затеяла в Москве тяжбу по поводу унаследованного имени, и когда возникла необходимость присутствия на суде самого Алябьева, Перовский, не имея власти самостоятельно разрешить ему выезд в Москву, усадил его туда под видом служебной командировки. Однако

вскоре Перовскому последовал запрос от московского генерал-губернатора Нейгарта о возможности пребывания Алябьева в Москве, о чем стало известно уже и в Петербурге. А в апреле 1842 г. шеф жандармов Бенкендорф пишет Перовскому, что Николай I приказал уволить Алябьева со службы и выслать его из Москвы на жительство в Коломну, Перовскому же “заметьте, что он не имеет никакого права командировать его (Алябьева. — Н.О.) без испрошения моего дозволения...”

В 1867 г. в большинстве губерний Российской Империи были учреждены жандармские управления, ставшие основными органами политического сыска. С их учреждением роль и влияние жандармерии на местах еще более усилились, она стала чаще вмешиваться в дела по надзору относительно конкретных, представляющих наиболее опасным правительству лиц. Появилось такое управление и в Оренбургской губернии.

В 70-х гг. прошлого века здесь отбывал ссылку известный русский публицист Владимир Александрович Обручев (1836—1912). Дворянин, гвардейский офицер, окончивший Академию Генерального Штаба, Обручев в 1858 г. вышел в отставку и стал сотрудничать в журнале “Современник”, возглавлявшемся в то время Чернышевским и Добролюбовым. В 1861 г. он принял участие в распространении нелегальной прокламации “Великорусс”, за что был арестован и приговорен к трем годам каторжных работ с последующим поселением в Сибири. В марте 1872 г. начальник жандармского управления извест-

тил оренбургского генерал-губернатора, что Обручев “разрешено переселиться на жительство под надзором полиции в один из отдаленных городов Оренбургской губернии...” и просил назначить ему, Обручеву, место поселения. В августе того же года Обручев прибыл в Уфу, где прожил до своего освобождения из ссылки в 1879 г. под надзором полиции и жандармерии...

До 1880 г. губернские жандармские управления подчинялись III Отделению, а после его ликвидации — Департаменту полиции Министерства Внутренних Дел. Полиция же на местах подчинялась губернатору, а через него — тому же департаменту того министерства. И, как это случается, когда одним делом занимаются два ведомства, не обходилось без трений, соперничества и неувязок, приводивших к недоразумениям в делах организации сыска и надзора. Примером может быть следующий факт.

В 1893 г. в Челябинске состоялся под надзором полиции высланный из Самары за антиправительственную агитацию А.А.Беляков, работавший служащим на строительстве Западно-Сибирской железной дороги. Вместе с ним проживала его жена, Евгения Злато-Корнев, ранее отбывавшая наказание в тюрьме, а затем высланная под надзор полиции в Челябинск. В одном доме с ними квартировал еще один поднадзорный — Павел Балашов.

Наблюдением за поведением Белякова и Балашова полицией было установлено, что их квартиры часто посещают другие политические ссыльные, находящиеся под надзором в Челябинске: Николай Зобнин, С.Казанский, По-

пов и его жена Гофман, Болотов, Проховский. Челябинский уездный исправник Балкашин заподозрил в этом неладное и в донесении оренбургскому губернатору Ершову сделал вывод, что “их постоянные ночные и вечерние сходки дают право безошибочно предполагать, что они заняты какой-то преступной деятельностью”. Сообщая об этом, Балкашин намечил и некоторые меры по пресечению нелегальной деятельности, в частности, он предложил: Белякова и Балашова перевести по службе в другие города, Казанского направить для отбытия ссылки в город Верхнеуральск, Гофман выслать из уезда и т.п. Получив такое донесение, губернатор предписал Балакишину “немедля... провести внезапный и тщательный обыск в квартирах состоящих под гласным надзором...”

Обыск проведен и, как следовало из донесения Балкашина, “результат... был тот, что из взятых писем у Балашова и Казанского ясно усматривается, что люди эти не оставляют своего прежнего направления, за которые они судились, и ведут переписку с лицами одних с ними политических взглядов”. Однако жандармское управление по своей линии тоже вело разработку группы Белякова—Балашова, и обыск, проведенный полицией, спугал их карты: прямых улик о преступной деятельности указанных лиц, на основании которых можно было произвести их арест, получено не было, сам же обыск насторожил участников группы и заставил их принять меры к усилению конспирации.

Началась письменная переписка между губернатором Ершо-

вым и начальником губернского жандармского управления полковником Сазоновым. Последний обвинил челябинскую полицию в том, что о предстоящем обыске поднадзорным стало известно заранее. “благодаря чему они имели возможность скрывать компрометирующие предметы”. На квартире Белякова был обнаружен чемадан, который, по словам обыскиваемого, принадлежал другому лицу; чемадан не вскрывался, содержимое его не осматривалось; после обыска был оставлен у Белякова, а затем одним из полицейских отряд без расписки пришедшему за ним неизвестному человеку. Ершов, в свою очередь, упрекал Сазонова в том, что тот не информировал его о группе Белякова—Балашова. В спор, наконец, вмешался Департамент полиции и учинил оренбургскому губернатору разнос за превышение своих полномочий, ибо “расследование дел политического свойства не относится к непосредственному кругу ведения общей полиции и производится чинами Департамента полиции... что в данном случае управляющий губернией не имел никакого основания распорядиться производством обыска без сношения о том с местным жандармским управлением или Департаментом полиции и дал возможность заподозренным лицам отправить компрометирующие их бумаги в Самару...” Более того, Департамент полиции заподозрил Балкашина в соучастии к политически неблагонадежным лицам и предложил провести расследование по этому поводу. Только благодаря энергичному заступничеству губернатора, горой вставшего за своего подчиненного, Балкашин, тридцать лет верой и правдой слу-

живший царю и отечеству, избегал крупных неприятностей.

В мае 1878 г. последовал секретный циркуляр Министерства Внутренних Дел, разъяснявший порядок установления и применения полицейского надзора за политически неблагонадежными лицами. Прежде всего, полицейский надзор разделялся на два вида: гласный и негласный. Лица, навлекшие основательные подозрения на себя антиправительственной деятельностью, определялись под гласный надзор, предусматривавший "некоторые ограничения отлучки с места жительства без разрешения полицейских властей"; к тем же, чья виновность не была доказана, но политическая благонадежность вызвала сомнения, применялся негласный надзор (при этом особо подчеркивалось, что он должен быть строгой тайной как для самого поднадзорного, так и для всех частных лиц и других ведомств).

С этого времени во всех ведомствах, списках и прочих документах по поднадзорным наряду с другими сведениями указывалось, какому надзору подвергнуто или иное лицо (гласному или негласному) и на какой срок.

Усиление полицейского надзора требовало и больших средств. Так, если по упомянутому циркуляру МВД от 28 мая 1863 г. полиции губернии отпускалось всего 150 рублей в год, то в 1878 г. на расходы по секретному надзору было выделено 500 рублей, т.е. в три с лишним раза больше. По городам и уездам эта сумма распределялась следующим образом: оренбургскому полицмейстеру — 200 рублей, челябинскому и верхнеуральскому уездным исправникам — по 75 рублей, троичному, орскому и оренбургскому исправникам — по 50 рублей.

80—90 гг. характеризуются возрастанием революционной активности трудящихся масс России. Набирало силу организованное рабочее движение, в стране стали появляться кружки и организации, ставшие предшественниками политических партий. В этих условиях ранее действовавшее положение о негласном надзоре уже не отвечало требованиям времени, и в 1882 г. было разработано новое Положение о негласном надзоре, которым основные функции по надзору передавались губернским жандармским управлениям и вновь организуемым охранным отделением.

## Фаниль Ишбулатов,

сотрудник Центра истории народов Южного Урала

### "...и мне жизнь хуже смерти"

К столетию со дня рождения Дм. Морского

*Улетел бы с вами, тучи,  
Улетел бы вслед мечтам,  
Но в скважи и окружен  
По рукам и по носам!*

Имя русского и мордовского поэта Дмитрия Малышева, печатавшегося под псевдонимом "Морской", давно известно знатокам и ценителям литературы. И написано о нем немало. Поэтому, чтобы не повторять других исследователей, остановимся на малоизученных страницах его биографии, основываясь при этом только на документах и неоспоримых фактах. Но для начала напомним все же основные вехи его жизненного пути...

Дмитрий Иванович Малышев родился 20 октября 1897 г. в селе Сапожьино, относящемся ныне к Бугурусланскому району Оренбургской области, в семье крестьянина-батрака, и сам, достигнув восьмилетнего возраста, начинает батрачить у помещика Титова. С одиннадцати до четырнадцати лет ходит в земскую школу, а учиться дальше — средств нет... В 1916 г. Малышева призывают в армию и после краткосрочного обучения направляют рядовым в 143 Дорогобужский пехотный полк, дислоцированный под Ригой. В конце 1918 г., когда фронт распался, Малышев отправляется домой. Прибыв в Бугуруслан, он добровольно вступает в Красную Армию, служит в уездном военном комиссариате, в марте 1919 г. вместе с другими молодыми работниками воскомата воюет рядовым в составе Пугачевского полка Чапаевской дивизии.

В конце июня 1919 г. в боях с колчаковцами на реке Белой Малышев был контужен. Однако вместо госпитализации, куда он был направлен на излечение, Малышев возвращается в свой военкомат и становится инспектором всеобщуча. А в начале 1921 г. его назначают заведующим клубом школы инструкторов физического воспитания Приволжского военного округа. Демобилизовавшись в середине 1922 г., Малышев поступает на рабфак Самарского университета. Живя в Самаре, он много пишет, активно печатается, принимает участие в Самарском литературном обществе "Слово". Именно в этот период его жизни произошел случай (во время катания в лодке по Волге), после которого товарищи стали называть Малышева "Морским". Впоследствии поэт взял это прозвище в качестве литературного псевдонима. Но что конкретно произошло в тот день на Волге, Малышев не говорит.

Затем Малышев (теперь уже Малышев-Морской или просто Морской) едет в Москву и, сдав экзамены, поступает на первый курс Высшего литературно-художественного института им. Брюсова. Прочув-

ся он здесь недолго, поскольку в 1925 г. институт был закрыт. Оставшись в Москве, Малышев-Морской пеликом посвящает себя занятиям литературой<sup>7</sup> (этот период можно назвать самым счастливым и плодотворным в жизни поэта).

В 1929 г. Морской решает поступить на курсы сценаристов при Государственном институте кинематографии; окончив их, участвует в съемках фильма по своему сценарию. Фильм, повествующий о прошлом мордовского народа, называется "Из тьмы веков" и хранится в архиве кинофотодокументов в г.Красногоровке Московской области. Это был первый и последний опыт сотрудничества Морского с кинематографистами.

В конце 1934 г. Морской, работающий тогда ответственным инструктором литературно-массового движения Всесоюзного центрального бюро писателей при ВЦСПС, вместе попадает в поле зрения НКВД, а в первый же день нового, 1935 г. его арестовывают по обвинению в антисоветской агитации и мошенничестве (мошенничеством сочтена публикация стихов под псевдонимом). Спустя месяц, в феврале 1935 г., Особое Совещание НКВД СССР приговаривает Морского к трем годам лишения свободы. Наказание он отбывает в Сибири. Освобождается досрочно, отбыв в лагерях вместо трех лет "всего" два года. Но Москва для него закрыта, и он поселяется в Куйбышеве, работает плановиком на Жигулевском пивоваренном комбинате.

Однако на свободе Морской пробыл недолго: в январе 1938 г. его снова арестовывают, теперь уже по обвинению в принадлежности к антисоветской террористической организации, состоящей из работников литературы. Виновым Морской себя не признает, и тем не менее находится под стражей до 13 марта 1940 г., когда решением Особого Совещания НКВД СССР Морского освобождают "за отбытием срока наказания". Еще два года вычеркнуты из жизни поэта.

В сентябре 1940 г. Морской переезжает к отцу в Сапожники, работает ответственным секретарем бугуруславской районной газеты "За большевистские колхозы", заведующим педагогическим кабинетом райОНО. Рядом с ним — вторая его жена Антонина Федоровна Давыдычева (с первой женой Антониной Александровны Ластовенко, Морскому пришлось расстаться, поскольку та не захотела уезжать из Москвы).

<sup>7</sup> Атмосферу "московского периода" жизни поэта дает почувствовать отрывок из работы саркатошского краеведа М.М.Чумакова "Оренбуржцы — друзья Сергея Есенина", в которой несколько строк посвящено и Дм. Морскому:

...Ты, молодой талантос периферии в Москву за знаниями в ту пору был законономер. Естественно, что и сын крестьянина-барака из безвестного села Сапожники, познавший участь бедности, решил попытать свое счастье. Так, Дмитрий Иванович... с большим грузом сомнений и душе августовского дном 1923 года претял к столичному причалу. Отправил чашку чайку. Малышева приняла в литературный институт им. В.Л.Брукова, сам Валерий Иванович восторженно откликнулся о стихах Дм.Морского.

Вот он на литературном вечере с участием Макаевского, Есенина, Пастернака. Позднее Дмитрий Иванович вспоминал, как "с затененной звуковы слышная нарывно-звучащий голос Есенина". Трудно было этот же вечер высугать поэту безвестному, да еще и в след за знаменитостями. Жалким были аллодисменты. Опустив голову, от сол за стол президиума. Неожиданно подошел Есенин, пропелтл в улю обиднощие слова, пожелал видеть его в группе имажинистов и пригласил на завтра прийти в кафе "Столы Пелгаса".

Дружба с Есениным завязалась прочная, но имажинистом Морской стать отказался, не поинтерисовалось тамешнее окружение Есенина. Хотя внешне есенинской музы и спускал, а порой и писал попражделательные стихи ("Ничего сыну" и др.), все же у него креп свой голос. Поэты встречались часто, обсуждали и личные и литературные дела. В знак благодарности за все доброе Дм. Морской послалги Сергею Есенину стихотворение "Был я красивым".

В мае 1941 г. Морской возвращается в Куйбышев, возобновляет сотрудничество с местными периодическими изданиями. Но покоя ему не дают: в сентябре 1941 г. его, как сулимого по статье 58-10 УК РСФСР, высылают из Куйбышева, а вместе с ним и его семью. Морской снова приезжает в Сапожники и до октября работает здесь заведующим сыпным пунктом "Заготзерно".

3 октября 1941 г. Морского арестовывают в третий раз. Теперь — по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. за распространение панических слухов (в уголовном деле имеются сведения, что Морской якобы распространял слухи о бомбежке Самары немецкими самолетами).

В декабре 1941 г. Военным трибуналом Оренбургского гарнизона Морской осужден к пяти годам лишения свободы. В лагерях он находился до конца марта 1943 г., когда по его личному заявлению направляется на фронт. Надо сказать, что 122 отдельная стрелковая бригада, куда был определен служить Морской, формировалась на станции Новосергиевка Оренбургской области. По прибытии на фронт бригада была преобразована в 153 стрелковую дивизию.

В августе 1943 г. при наступлении в направлении города Ельни Морской был контужен и ранен в плечо и в ногу. После излечения его оставили при госпитале в качестве заведующего библиотекой и одновременно почтальоном.

Но НКВД не дремало (в войсках его функции исполняли отделы "Смерш"), и 11 мая 1944 г. постановлением отдела контрразведки "Смерш" 5 Армии Морской-Малышев Д.И. вновь арестован. Обвинение, как всегда, стандартное: статья 58-10, антисоветская агитация. При аресте у Морского отобрали красноармейскую книжку, справку о прохождении военно-врачебной комиссии, справку о ранении, тетрадь со стихами на 47 листах и деньги в сумме 225 рублей.

Сразу же после ареста и обыска начинается допрос. Морскому вменяют в вину клеветнические высказывания о партии и советской власти, зачитывают два свидетельских показания, якобы подтверждающих его вину, но Морской все отрицает и виновным себя не признает.

27 мая 1944 г. Морскому предъявлено обвинение (все дни, пока шли следствие, он содержался под стражей в КПЗ отдела контрразведки "Смерш" 5 Армии)...

Вероятно, читателям будет интересно знать, как шло следствие, о чем спрашивали и что отвечал на допросах Морской. Первые дни (13 и 14 мая) вопросы касались его биографии, и Морской подробно рассказывал о своей жизни. Затем, начиная с 23 мая, вопросы перешли в плоскость обвинения.

Приведем протокол допроса (фрагмент) за один только этот (23 мая) день.

**"Вопрос следователя:** С кем совместно, по одному делу, Вы привлекались к уголовной ответственности в 1938 году?

**Ответ:** Я был арестован 4 января 1938 года и мне были предъявлены показания арестованных членов Куйбышевского союза советских писателей

Баргова Виктора и Луккина, работавшего литературным сотрудником в газете "Волжский комсомолец", и третьего члена этого же союза, фамилию которого я не помню, так как я его никогда не знал. По показаниям, которые я считаю клеветническими, этих лиц я



проходил как участник контрреволюционной террористической организации. Виновным себя в предьявленном обвинении я не признал, очных ставок не делалось, в процессе следствия я ни Баргова, ни Луккина, ни третьего не видел и решение по их делу мне неизвестно. Я же в марте 1940 года решением Особого Совещания от 27 февраля 1940 года из-под стражи освобожден за отбыванием срока наказания.

**Вопрос:** Имели ли Вы какую-либо связь с Баргым и Луккиным после освобождения из-под стражи?

25 мая 1944 г. допрос продолжался. На вопрос, почему он не вступил в партию, Морской отвечает:

“Членом ВКП(б) я никогда не был. О причинах, почему я не вступал в партию, никто не спрашивал, и я эти причины никак не объяснял, как до армии, так и в период нахождения в армии.

16 июня 1944 г. постановлением следователя отдела контрразведки “Смерш” тетрадь Морского с рукописными стихами приобщена к делу в качестве вещественного доказательства, т. к. по мнению следователя, стихотворение “Дурак”, страница 9, и “Платок”, страница 37, содержат клевету на офицерский состав Красной Армии и указывают на враждебное отношение автора к советской действительности.

17 июня 1944 г. следствие окончено, составлен протокол.

18 июня 1944 г. подписано обвинительное заключение. В нем, в частности, говорится:

“Следствием по делу установлено: Морской-Малышев, будучи враждебно настроенным к существующему Советскому строю в нашей стране, систематически среди личного состава госпиталя и находившихся в нем на излечении военнослужащих проводил антисоветскую агитацию: клеветал на советскую действительность, коммунистическую партию и ее вождя, Советское правительство, ее внешнюю и внутреннюю политику, офицерский состав, победы

21 июня 1944 г. проводится подготовительное заседание Военного трибунала 5 Армии. Выносятся определение о предании суду Морского-Малышева Дмитрия Ивановича по выводам обвинительного заключения. Определением устанавливается: дело рассматривать в закрытом судебном заседании, без участия обвинителя и защиты, с вызовом

**Ответ:** Ни с Баргым, ни с Луккиным я после своего освобождения из-под стражи, как и ранее, не встречался и с ними никакой связи не имел.

**Вопрос:** С кем Вы имели переписку, проходя службу в армии?

**Ответ:** Проходя службу в армии, я имел переписку со своей женой Морской Антониной Федоровной, проживавшей в гор. Куйбышеве, получил два письма от находящегося в армии сына Давыдычева Бориса, переписывался с бывшим заместителем начальника госпитала № 277 майором Соловьевым.

Показания свидетелей от 10 мая 1944 года в части, якобы, имевших место с моей стороны клеветнических высказываний о партии и советской власти отрицаю.”

Красной Армии над немецкими захватчиками, и восхваляя стратегию немецко-фашистского командования в войне против СССР.

Обвиняемый Морской-Малышев в предьявленном обвинении виновным себя не признал, однако избочивая показаниями свидетелей и вещественным по делу доказательством — сборником рукописных стихотворений Морского-Малышева, в которых он клеветает на советскую действительность...

свидетелей. Мера пресечения оставляется прежняя, т. е. содержание под стражей.

22 июня 1944 г. в 17 часов 30 минут открывается судебное заседание Военного трибунала 5 Армии. Морской-Малышев в судебное заседание доставлен под конвоем. Из шести свидетелей трое не явились ввиду выбытия из части. Председательствующий проверяет личность подсудимого, устанавливает наличие явившихся свидетелей, предупреждает их об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, отбирает подписку и удаляет из зала.

На вопрос председательствующего подсудимый Морской отвечает, что не возражает против слушания дела в отсутствие неявившихся свидетелей. На вопрос председательствующего Морской отвечает: “Права мои на судебных заседаниях мне понятны, отвода составу суда не заявляю, ходатайств не имею”.

Начинается судебное следствие. Председательствующий оглашает обвинительное заключение. На вопрос председательствующего Морской отвечает: “Предьявленное обвинение мне понятно, виновным себя в предьявленном обвинении не признаю”.

Показания подсудимого Морского-Малышева в ходе судебного следствия:

“Литературной деятельностью я занимался с 1919 года. Еще будучи участником гражданской войны я писал стихи, очерки для армейских газет. В 1927 году я написал сборник стихов “Сурдин пурги”, который был издан. В 1928—1929 годах мною были написаны и изданы две поэмы. В 1930 году я написал сценарий “Из тьмы веков”. Начиная с 1931 года я занимался поэзией и одновременно работал ответственным инструктором литературно-массового движения Всесоюзного Центрального бюро писателей при ВЦИСПС в г. Москве.

1 января 1935 года я был арестован органами НКВД Москвы, обвинялся я в антисоветской агитации и молчаливости, за что был осужден в февра-

ле месяце этого же года Особым Совещанием НКВД СССР к трем годам ИТЛ. Наказание отбывал в 5 Омлаге до ноября 1936 года. А затем был досрочно освобожден. С 1936 года я стал проживать в г. Куйбышеве. В 1938 году я был арестован органами НКВД г. Куйбышева и до марта 1941 года находился под следствием. В марте 1941 года я был освобожден. 8 декабря 1941 года я был осужден Военным трибуналом Чаковского гарнизона по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1941 года к 5 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. До марта месяца 1943 года я находился в лагерях, в марте 1943 года я был освобожден и направлен на фронт”.

На вопрос председательствующего Морской отвечает:

“Я не отрицаю, я всегда живу обобщенно, темные стороны жизни, так как я художник. Я говорил часто афоризмами, литературными каламбурами, может быть, в этом люди видели и находили контрреволюционный смысл, но это же не есть антисовет-

ская агитация. О Тегеранской конференции я никому ничего не говорил. Все свидетели говорят неправду. Тетрадь стихов, которая приобщена к делу, написана мной с июля 1943 года по март 1944 года. Причем это мои черновые записи”.

Оглашается стихотворение “Платок”, лист тетради 37.

На вопрос председательствующего Морской отвечает:

“Я не отрицаю, писал: “В офицерском звании, вориска”. Этим стихотворением я хотел показать вориску, присвоившего себе офицерское звание, ведь есть же такие люди! Кроме того — я повторяю, это мои черновые записи, и я еще собирался их обработать. Я не скрою, я писал в одном

Во время судебного следствия допрашиваются свидетели. В качестве доказательства вины Морского они приводят слова, якобы высказанные им прежде: “У нас критиковать нельзя, т. к. за это приходится расплачиваться жизнью и свободой. Церкви у нас открылись под давлением союзников”. Морской категорически отвергает эти показания: “Это ложь, все свидетели есть провокаторский блок, у них нет и не было совести”.

Судебное следствие закончено. Председательствующий предоставляет последнее слово подсудимому. В последнем слове Морской говорит:

“Я прошу суд одного, если найдете меня нужным, полезным обществу человеком, так как я имею определенное образование и дарование, то оправдайте

из стихотворений: “Спят неповинные гунны”, но это стихотворение незаконченное и к тому же эти слова “спят неповинные гунны” включены в стихотворение только для рифмы, возможно это место цензура выпустила бы при проверке. Эти стихи я никому не читал”.

меня, реабилитируйте. Если я виноват, то расстреляйте меня. Я девять лет скитаюсь по тюрьмам оклеветанный и мне жизнь хуже смерти”.

Трибунал удалился, и по возвращении председательствующий оглашает приговор<sup>5</sup>.

### ПРИГОВОР

Именем Союза Советских Социалистических республик  
1944 года июня 22 дня Военный трибунал 5 Армии  
в закрытом судебном заседании в расположении Военного трибунала  
в составе:

председательствующего.....  
членов.....  
при секретаре.....

рассмотрел дело по обвинению красноармейца-библиотекаря 277 госпиталя для легкораненых Морского-Малышева Дмитрия Ивановича, 1897 года рождения, уроженца с. Сапожкино, Мордовского-Боклинского района, Чкаловской области, по национальности мордвина, служащего, беспартийного, женатого, образование высшее, судом Особым Совещанием НКВД СССР в 1935 году по ст.58-10 ч. 1 УК РСФСР к трем годам лишения свободы — наказание отбыл. Военным трибуналом Чкаловского гарнизона 18.12.41 г. по Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 6 июня 1941 года к 5 годам ИТЛ с отсрочкой исполнения приговора до окончания военных действий, в Красную Армию мобилизован в марте месяце 1943 года Бутурусланским РВК, Чкаловской области в преступлении, предусмотренном ст.58-10 ч. 2 УК РСФСР.

Материалами предварительного и судебного следствия виновность Морского-Малышева установлена: в том, что он, находясь на службе в госпитале №277 в качестве библиотекаря, в период с декабря месяца 1943 года по май 1944 года систематически среди военнослужащих госпиталя проводил антисоветскую агитацию, направленную против руководителей партии и советского правительства, клеветал на офицерский состав Красной Армии и проводимую внутреннюю и внешнюю политику Советской власти.

Своими действиями Морской-Малышев совершил преступление, предусмотренное ст.58-10 ч. 2 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР

### ПРИГОВОРИЛ

Морского-Малышева Дмитрия Ивановича на основании ст.58-10 ч.2 УК РСФСР с санкции ст. 58-2 УК РСФСР лишить свободы в ИТЛ сроком на десять (10) лет, с поражением в правах по пунктам “а”, “б”, “в” ст.31 УК РСФСР сроком на три года, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.

Исчислять срок отбывания наказания Морскому-Малышеву Дмитрию Ивановичу с 12 мая 1944 года.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Председательствующий.....  
Члены ВТ.....  
.....

9 июля 1944 г. в присутствии комиссии из трех членов сожжена рукописная тетрадь со стихами Морского.

23 июля 1944 г. Морской направлен в тюрьму № 1 г. Смоленска. В тот же день Куйбышевскому городскому военному комиссару уходит сообщение, что Морской-Малышев Д.И. осужден, а потому его жена Морская-Малышева Антонина Федоровна, проживающая в г. Куйбышеве по улице Чкалова, дом 78, квартира 1, должна быть лишена всех льгот и преимуществ, предусмотренных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1941 г.

24 июля 1944 г. во исполнение приговора в части конфискации личного имущества в адрес народного комиссариата юстиции г. Куйбышева уходит сообщение о том, что изъятые при обыске деньги в сумме 225 рублей сданы в доход государства.

Отбыв наказание, Морской в 1954 г. вернулся домой и через два года, в возрасте 59 лет, умер в больнице на станции Колтубановка Оренбургской области. А ведь был он из рода долгожителей (например, отцу его в 1960 г. исполнилось 102 года), но лагерь и тюрьмы смертельно подорвали его здоровье...

В 1956 г., после XX съезда КПСС, начинается массовая реабилитация жертв политических репрессий. Однако скоро завеса секретности вновь опускается над злодеяниями сталинизма.

<sup>5</sup> Текст приговора приводится полностью.

21 апреля 1960 г. по жалобе родителей поэта Военная прокуратура Белорусского военного округа приступает к проверке обоснованности осуждения Морского, и 13 июля того же года военный прокурор БелВО вносит протест в порядке надзора об отмене приговора и прекращении дела в отношении Морского-Малышева Д.И.

27 июля 1960 г. определением Военного трибунала Белорусского военного округа приговор Военного трибунала 5 Армии от 22 июня 1944 г. отменен, а дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Ивану Никитовичу Малышеву, отцу Морского, направляется справка о реабилитации сына.

18 августа 1960 г. в Военный трибунал Белорусского военного округа поступило письмо, написанное явно детской рукой:

*"... Справку о реабилитации Морского-Малышева Дмитрия Ивановича получили. Благодарим Вас за хлопоты и справку. Мне, Малышеву Ивану Никитовичу, 102 года, а жене 89 лет. Экономически живем очень бедно, может быть отдадут двухмесячный оклад нашего сына до его ареста и мы приобретем на это кусок хлеба. Изумство при аресте нашего сына не конфисковалось, да и нечего было конфисковать.*

*За неграмотного Малышева Ивана Никитовича внук Д.Малышев".*

Хотелось бы сказать несколько слов и о брате поэта — Сергее Ивановиче Малышеве, но сказать практически нечего. Известно лишь, что в 1935 г. его привлекли к уголовной ответственности (вместе с Дмитрием Ивановичем), но что с ним было дальше, неизвестно. В главном информационном центре МВД России сведений о Малышеве С.И., 1912 года рождения, нет.

Творческое наследие Дмитрия Морского во многом еще не изучено. Знакомясь с хранящимся в архиве уголовным делом на Морского-Малышева Д.И., мы установили, что в начале 30-х гг. ряд произведений напечатан им под псевдонимом "Дм. Долгономов". Почему "Долгономов"? А потому, объясняет он на одном из допросов, что какое-то время его стихи не печатали, и он вынужден был прибегнуть к новому псевдониму.

Нам повсчастливилось обнаружить одно из стихотворений Морского, напечатанное в газете "Известия ЦИК и ВЦИК" (12.09.34) именно под этим псевдонимом.

### Думы

Выведу каурого коня  
Из ворот колхоза к водою,  
Песней встретит соловей меня,  
Ты махнешь мне шапкой голубую.  
Шальный ветер кольхнет рябину,  
Радугами вспыхнут жемчуга,  
Я взмахну походным карабином  
И покину эти берега.

Я покину, как на утро жизни  
Покидал поля и край родной —  
Уходил за горькую отчизну  
Умирать над Северной Двиной.  
Штурмовал я черные твердыни,  
От облаков край освобождал,  
Среди пепла и глухой пустыни  
Мир труда и счастья создавал,  
Пеленал, как первенца родного,  
Как младенца соскою кормил...



Если надо, кровью сердца снова  
Напою я этот край, чтоб жил!  
Конь и я, мы духом молодые,  
Не беда, что в серебре виски,  
Если грянут горы боевые,  
Мы готовы броситься в штyki!  
Партизан матерый и прожженный,  
Шрамы рубки на лице моем,  
Эти жилы туго заряжены  
Штурмовым негаснущим огнем.  
Пусть же ветер кольхнет рябину,  
Ты уйдешь, роняя жемчуга. —  
Я помчусь с серебряной чубиной  
За белыми песнями в луга.  
Может быть, там юность среди песен  
Продолжает майским флагом плыть?  
Может быть, из стай летучих песен  
Я одну сумею подстрелить.

В той же газете помещена краткая справка:

"Автор настоящего стихотворения — Дмитрий Долгономов, по национальности мордвин, род. в 1897 г. на Средней Волге, в нынешней Мордовии. До революции батрачил у помещика. В 1916 г. был мобилизован в царскую армию. С 1919 г. сражался в Красной Армии. После демобилизации в 1922 г. по-

ступил на рабфак, но не окончил его, вернулся в деревню — село Сопожкино, Мордовско-Боклинского района, Средне-Волжского края. В годы коллективизации организовал там колхоз и с тех пор безвыездно работает в колхозе. До настоящего времени нигде не печатался".

В ходе поиска удалось обнаружить и фильм "Из тьмы веков", снятый по сценарию Дм. Морского. Его экранное время — 55 минут, общий метраж — 1474 м.

Несмотря на небольшой пока что объем найденного из неизвестных прежде произведений Морского, мы верим, что со временем отыщем еще немало. Ведь наверняка поэт писал и в местах заключения, а там исследования еще не проводились.

## 2-й Оренбургский казачий воеводы Нагого полк в документах и фотографиях



23 апреля 1882 г. из сотен Оренбургского казачьего войска (ОКВ), принимавших участие в Ахал-Текинской экспедиции генерала Скобелева, сформирован был Оренбургский казачий №2 полк. 18 июля 1882 г. полк вошел в состав 13 кавалерийской дивизии и был расквартирован в Нижнем Новгороде. В течение пяти лет полк находился в этом городе и обеспечивал спокойствие горожан и порядок на проводимых ярмарках.

13 июля 1885 г. полк поменял нумерацию и стал называться Оренбургским №2 полком.

В 1888 г. полк переведен в Варшаву.

С 24 мая 1894 г. полк носит название: 2 Оренбургский казачий полк, а с 25 декабря 1914 г.: Оренбургский казачий Воеводы Нагого полк.

Полк имел отличия:

- 1) полковое знамя пожаловано при формировании, из числа пожалованных конным полкам 6 мая 1842 г.;
- 2) знаки отличия на головные уборы, пожалованные 1, 2 и 3 сотням 4 июня 1882 г.: "За штурм крепости Геок-Тепе 12 января 1881 г.";

3) одиночные боевые петлицы на воротнике и обшлагах мундиров нижних чинов, пожалованных 6 декабря 1908 г.

Командирами полка поочередно были: подполковник Б.Моренциль (1882–1884), полковник В.Греков (1884–1900), В.Толмачев (1900–1904), Н.Халин (1904–1909), Ф.Михайлов (1909–1914), Г.Ситников (1914), войсковой старшина В.Пустаханов (1914), полковник П.Хлебников (1914–1917), М.Смирнов (1917).

В этом полку служили казаки 1-го Военного отдела ОКВ, т.е. из станиц Кардаилловской, Краснохолмской, Городищенской, Буранной, Богуславской, Донецкой, Павловской, Пречистенской, Каменноозерской, Татищевской и некоторых других. — все они расположены на территории Оренбургской области.



Облагодетели

### ДАННЫЕ О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-го ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЕВОДЫ НАГОГО ПОЛКА ЗА ТЕКУЩУЮ КОМПАНИЮ.

#### ПО ЧАСТИ СТРОЕВОЙ.

В 12 часов ночи на 18 Июля полку объявлена мобилизация, а к 6 часам утра закончено приготвление к походу. По плану мобилизации две сотни полка назначены одна в Варшавскую крепость, а другая в Ново-Горговскую. По этому распределению в Варшавскую крепость назначена 2-я сотня, под командованием Есаула Болова, а в Ново-Го-

оргиевскую — 4-я, под командой Подъесаула Лобова. Сотни выступили по назначению с таким расчетом, чтобы к назначенному времени по плану быть на месте. Остальные сотни 18-го Июля тремя эшелонами направлены со ст. Варшава на ст. Чижов Северо-Западных железных дорог, куда и прибыл последний эшелон в 1 час ночи 19-го Июля. Эшелоны по мере подхода к ст. Чижов и выгрузки следовали в дер. Остроже (Демжинской губ.). Последний эшелон прибыл в Остроже 19-го Июля в час дня, где полк поступил в распоряжение Командира 2-й бригады 4-й пехотной дивизии, имея к этому времени нижеследующий



За прицепом, прибытым эскалоса старбы

боевой состав (1,3,5 иб сотни, команда связи и прожекторная):  
 Офицеров — 18  
 Врачей — 3  
 Чиновников — 1  
 Шашек — 506-80 боезн. и доньщик. = 426

С начала мобилизации и по 17-е Августа 1914 г. полком командовал полковник Генерального Штаба Александр Ситников, оказавший впоследствии, после разгрома в Восточной Пруссии армии Генерала Самсонова, в Германском плену, таким образом с указанного времени и до 8 Сентября времен-

но командовал полком Войсковой Старшина Пустаханов, а 8 Сентября прибыл вновь назначенный — Полковник Петр Хлебников, который командовал полком до настоящего времени.

Боевые действия полка за всю кампанию можно подразделить на нижеследующие два периода:

А) Действия полка в составе частей 2-й армии с 18-го Июля по 1-е Октября 1914 года;  
 Б) В составе 13-й Кавалерийской дивизии, в которой полк состоял, еще в мирное время, с 1-го Октября 1914 года по настоящее время...



Посад юртин от острейших старбын. 1 мая 1915 г.

С 1 по 29 Января 1916 года полк стоял на отдыхе в районе д. Герново, Бураково, Осинковка, Вилки, Страшные, Седловка и фольварк Климовщина. Во время стоянки на отдыхе занятия проводились по расписанию. С сотнями пройдено 4 упражнения боевой одиночной стрельбы.

30 Января производилась подготовка полка к ВКСОЧАЙШЕМУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАря ИМПЕРАТОРА еиотру.

31 Января полк в составе 13 Кавалерийской дивизии имел счастье, на станции Бор-

ковичи Риге-Орловской железной дороги, представляется ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. Во время смотра ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было обратиться к чинам полка с следующими словами:

“Т. г. офицеры. Выражаю вам МОЮ сердечную и горячую благодарность за доблестную и преданную службу Родине и МНЕ, а также благодарю за сегодняшний смотр. Вам, молодцы, за честную и молодецкую боевую службу Родине и МНЕ сердечное МОЕ спасибо.



Хоружий Александр Ефимович. Умер от ран осенью 1915 г.

Уверен, что каждый из вас постоеит до конца и поможет МНЕ одолеть наших уперных врагов. Дай вам Бог полного успеха и благополучия,” а при прохождении парадными маршем ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР изволил сказать каждой проходящей сотне “ОТЛИЧНО” и при прощании назвал “СЛАВНО ОРЕНБУРЖЦЫ”.

С 1-го Декабря 1915 года по 1 Января 1917 года полком командовал полковник (ныне Генерал-Майор) Хлебников.

ОПИСАНИЕ ПОДВИГОВ г. г. ОФИЦЕРОВ ПОЛКА, ПОЛУЧИВШИХ ОРДЕН Св. ГЕОРГИЯ 4 степени  
Полковника (ныне Генерал-Майора)  
Петра Хлебникова.

9 Мая 1915 года командир 2-го Оренбургского казачьего ВОЕВОДЫ НАГОГО полка, Полковник Хлебников командовал отрядом из двух полков: своего, 13-го уланского Владыкского и 5-й батареи 83-й артиллерийской бригады.

Полковник Хлебников был начальником самого важного и ответственного боевого участка, причем ему категорически была поставлена задача упорно держаться и прикрывать путь на город Опатов.

13-й гусарский Нарвский полк, занима-



Население 13 казачьих воевод Туманов, 1915 г.

вший позицию правее и не имевший непосредственного соприкосновения с неприятелем, отошел днем 9 Мая. С утра 10 Мая тяжелая и полевая артиллерия противника начала сильно обстреливать весь боевой участок, стрельба продолжалась весь день, сыпая еще неоконченные наши окопы. Около 11 часов от командира 1-й сотни из посада Иваниска получено донесение, что три неприятельских колонны, по батальону каждая, наступают из леса в направлении на посад Иваниска. Тотчас Полковник Хлебников приказал 5-й батарее

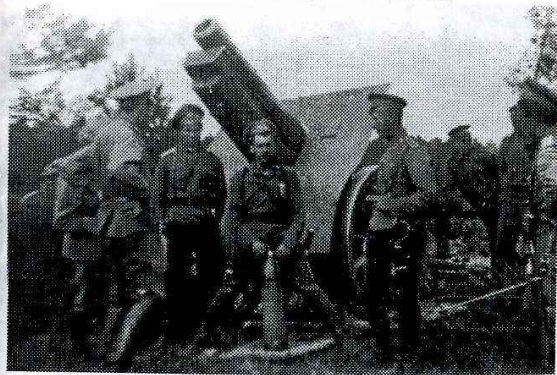
открыть огонь по колоннам. При дальнейшем наступлении австрийцев, 1-я сотня из посада Иваниска под сильным ружейным и артиллерийским огнем, неся потери, стала отходить в направлении шоссе на правый фланг нашей позиции и заняла бугор, что к северовостоку от фольварка Шпента. В час дня австрийские густые цепи повели наступление на весь участок Полковника Хлебникова и колонна менее двух рот стала обходить его правый фланг. К 4 часам, после сильной ружейной и пулеметной перестрелки при содействии батареи, австрийские цепи уже были в 400 шагах; с обеих сторон огонь приня



Казачья-булаватчики

ураганный характер. Положение становилось опасным, так как с потерей казаками позиции, путь на Опатов открылся, лес, что занимал казачий полк, углублялся и, заняв его, австрийцы оказались бы в тылу, что угрожало потерей всей позиции. Оценив правильно положение, Полковник Хлебников вызвал из резерва 4 эскадрона 13-го уланского Владимирского полка, два из них направил усилить центр, где особенно напирала австрийцы, а два других поднял к своему правому флангу. Тем временем австрийцы, в

центре уже втянулись в занимаемый казаками лес, за целый день патроны у казаков все расстрелялись. В этот критический момент Полковник Хлебников решил атаковать и во главе атакующих бросился в шашки во фланг и тыл врывающихся австрийцев. Благодаря такому неожиданному удару, австрийцы после непродолжительной сиватки, оставив на месте до 50 трупов, бросились бежать, преследуемо сначала жестким огнем, а затем и казаками. В этой молодецкой атаке с одной лишь шашками, взято в плен 3 офицера и 110 солдат, которые и были представлены



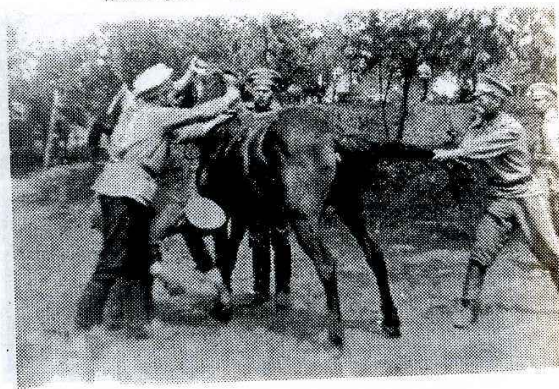
Казачья сотня у артиллерийского

через штаб дивизии в штаб 31-го армейского корпуса...

...Потери с нашей стороны тяжело ранено 2 офицера, ранено — 4 и контужено — 1; нижних чинов: убито — 14, ранено — 2.

К 6 часам вечера позиции не только была удержана, но австрийцы были частью уничтожены, частью взяты в плен, а остальные обращены в беспорядочное бегство... В 11 часов вечера и в 3 часа ночи повторные атаки австрийцев небольшими силами каждый раз отбивались ружейным и пулеметным огнем.

Полковник Хлебников с самого начала наступления, находясь при передовых цепях под действительным ружейным огнем в течение целого дня лесного боя, сам лично руководил действиями частой боевого участка, ободрял всех своею храбростью и отвагой, появляясь всегда на коне или пешком в том месте, где угрожала большая опасность, благодаря чему и несмотря на значительную длину боевого участка, несмотря на несравненно превосходные силы противника и трудность связи в густом лесу — все три атаки противника были отбиты с огромным для неприятеля уроном.



Нервничая лошадь

Несмотря на то, что казачий участок был впереди относительно общего фронта, только благодаря умелым, энергичным и решительным действиям Полковника Хлебникова, не задумавшегося в решительную минуту боя riskнуть всем, ему удалось не допустить прорыва между 25-м и 31-м корпусами. Полковник выдержал бой с превосходными по силе противником, не уступив ему ни одного шага, и тем не только предотвратил потопу всей нашей позиции, но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил своих от грозившей им опасности...

Начальнику штаба походного атамана при ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМ ВЕЛИЧЕСТВЕ.

по части строевой  
\*9 Января 1917 г.  
№144  
На №3476 и приказ  
№30-1916

Описание боевых действий в. вверенного мне полка, список Г.г. офицерам с отметкой о прибыли и убыли и сведения о трофеях полка при сем препровождаю.

Вр. командующий полком  
Войсковой Старшина Белов  
Вр.и.д. Полкового адъютанта  
Сотник Голубев



Мем. трофеи

С начала войны по 1 Января 1917 года

1) Выступило в поход:	
Офицеров	18
Казakov строевых	506
Казakov нестроевых	80
2) Прислано пополнения:	
Офицеров	23
Казakov строевых	1111
Казakov нестроевых	31
3) Прислано пополнение лошадьми из войска	1164



4) Награждено офицеров: Орденом Св.Георгия 4 ст.	2
Георгиевским оружием	2
5) Награждено казаков: Георгиевским крестом	323
Георгиевской медалью	223
6) Убито: Офицеров	2
Казаков	51
7) Ранено Офицеров	4
Казаков	144
8) Контужено:	



Командир 2-го ОКВ П.Лебискин (стоит) с семьей

Офицеров	6
Казаков	15
9) Без вести пропавших:	
Офицеров	9
Казаков	285
10) В плену: Офицеров	-
Казаков	-
11) Трофеи: Пленных офицеров	6
врачей	-
нижних чинов	465

Пулеметы	(замок и приемник испорченного пулемета)
Ружья	122
Пики	10
Револьверы	1
Бинокли	2
Лошади	8
Железнодорожных составов	11
12) Число подсудимых дел за грабежи -	
Вр. командующий полком	
Войсковой Старшина Белов	
Вр. и.д. Полкового Адъютанта	
Сотник Голубев	

После октябрьских событий 1917 года Войсковой Атаман А.И.Дутов издает приказ, в котором рекомендует всем полкам и батареям ОКВ, желательно с оружием, прибыть в Оренбург. 2-й полк, сдав казенное имущество, направился на родину. На станции Пенза, ночью, большевики увели от эшелонов паровозы, а сами эшелоны окружили пулеметами. Полк был разоружен, и несколько суток казаков не выпускали из вагонов. Поэтому, чтобы не умереть с голоду, и решено было составить на общем собрании "Обращение трудовых казаков".

#### Голос трудовых казаков.

Резолюция, принятая на общем собрании двух эшелонов 2-го полка. Принята 1- Января 1918 г. в Пензе.

Мы, казаки 2-го Оренбургского казачьего Воеводы Нагого полка, постановили, что мы, трудовое казачество - в корне протестуем против контрреволюции атамана Дутова и приспешников его, а ввиду этого просим советскую власть гор.Самары оказать нам содействие, чтобы мы могли пройти в город Самару. Просим также возратить нам оружие, которое у нас отобрали, с которым мы бы могли бороться против контрреволюции и защищать интересы трудового казачества. Если ввиду недовери к казакам революционной советской власти не найдет этого возможным, то просим пропустить нас на Миасс, хотя бы и без оружия, чтобы нам и нашему воинскому составу не погибнуть с

голоду, потому что мы такие же трудовики и защитники трудового народа.

Резолюция принята единогласно.

Председатель Общего собрания казаков Артюхов  
Секретарь Прооров

„Оренбургский казачий вестник“ №19  
(27.01.18)

Возвратились домой казаки только в январе 1918 года - разрозненными группами и без оружия.

24 января на 18 разъезде был расстрелян возвращающийся с германского фронта к своей семье в Оренбурге генерал-майор П.В.Хлебников. Покойный был задержан большевиками на станции Платовка и затем поконвоюем доставлен в Оренбург. После короткого допроса генерал был отведен на 18-й разъезд и здесь расстрелян. Покойному было предьявлено обвинение в связях с Калединным. Труп покойного привезен в Оренбург для погребения, которое было назначено на 29 января.

„Оренбургский казачий вестник“ № 21  
(31.01.18)

Бывший командир 2-го Оренбургского казачьего полка П.Хлебников — одна из первых жертв среди казаков вначале 1918 года. Но если его гибель еще не стала причиной особых волнений, то дальнейшие действия большевиков вынудили казаков вновь взяться за оружие и воевать уже на своей земле и зачастую против бывших однополчан (таких, как бывший хорунжий 2-го полка Петр Каширин).

Но это — уже совсем другая история...

Публикацию подготовил В. Семенов

## Ольга Крюкова

### Донец\*

Повесть в стихах

Ольга Петровна Крюкова (1815—1885) опубликовала свои первые произведения будучи совсем юной на страницах „Дамского журнала“ П.И. Шаликова. Это были стихи и отрывки из повести в стихах „Илецкий казак“, в которой явно сказывались ее детские впечатления, ибо родилась Крюкова в Оренбуржье, в Илецкой Защите. Сведений о ее жизни чрезвычайно мало, известно лишь, что Крюкова — из бедной дворянской семьи, видимо, рано осиротела и была увезена к родственнице, симбирской помещице.

Современница А.С.Пушкина, Крюкова не избежала влияния великого поэта. Ее повесть в стихах „Донец“ относится к ряду многочисленных подражаний „Кавказскому пленнику“. Отмечая эту повесть, редактор „Дамского журнала“ Шаликов, возможно, несколько преувеличивая, назвал Крюкову „Пушкиным своего пола“. И подчеркнула, что 18-летняя девушка, не выезжавшая никогда из провинции, хорошо владеет стихотворным языком.

В повести „Донец“, как и в „Илецком казаке“, изображаются уральские казаки, их поход, пленение одного из казаков, выхода с Дона, любовь к казаку Аютю.

К другим „оренбургским“ произведениям Крюковой можно отнести ее очерки, публиковавшиеся в журнале „Развлечение“ и вышедшие отдельным изданием в 1859 году.

Лучшим произведением Крюковой считается сказка в стихах сатирического плана „Данило Бесчастный“ (СПб, 1876), но творчество поэтессы недостаточно изучено, и, возможно, после нее остались еще какие-то труды, заслуживающие внимания, — прежде всего наше, ее земляков.

А.Г.Прокофьева, В.Ю.Прокофьева

Уже потух огонь денницы,  
Поля увлажнились росой,  
И кровли низкие станицы  
Оделись черной пеленой.  
Утихла степь, уснули водки.  
На берег пенистый реки  
Вмешаться в пляски, в хороводы  
Младые вышли казаки;  
И каждый юноша прекрасный,  
Избрав любимую из дев,  
Внимает песни сладкогласной  
И пляшет под ее напев.  
Но где же, где краса станицы,  
Чьи очи юношей губят?  
Напрасно красные девизы  
Ее играть с собой маят:  
Она не слышит их привета:  
Мечтой души упоена,  
На влажной мураве простерта,  
Не внемлет кликам их она.  
Кто краше был Аютю милой?  
Кто ей подобную встречал?  
Кто в пылкой юности, игривой  
При ней душой не унывал?  
Никто из дев родной станицы,  
Никто не мог сравниться с ней;  
Как пламя золотой денницы,  
Прекрасен блеск ее очей.  
Невинны, полные душой,  
Как звезды яркие, оне  
Маят задумчивой красною,  
Горят в лилейной белизне.  
Но никогда ее ланиты  
Не зарумянятся весной:  
Как холодом цветок убитый,  
Не оживет она душой.

Взросла Аюта сиротой.  
Урала сын, ее отец,  
Сраженный вражеской рукою,  
На битве получил конец, —

\* Печатается по изданию: О.Крюкова. Донец. Повесть в стихах. М., 1833.